



ЖАН ПОЛЬ

САРТР

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

ТОШНОТА

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Жан-Поль Сартр

Тошнота

«Издательство АСТ»

1938

УДК 821.133.1-31
ББК 84 (4Фра)-44

Сартр Ж.

Тошнота / Ж. Сартр — «Издательство АСТ»,
1938 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-082803-6

Тошнота — это суть бытия людей, застрявших «в сутолоке дня». Людей — брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности. Тошнота — это невозможность любви и доверия, это — попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга. Тошнота — это та самая «другая сторона отчаяния», по которую лежит Свобода. Но — что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..

УДК 821.133.1-31

ББК 84 (4Фра)-44

ISBN 978-5-17-082803-6

© Сартр Ж., 1938
© Издательство АСТ, 1938

Содержание

От издателей	6
Листок без даты	7
Дневник	9
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Жан-Поль Сартр

Тошнота

*Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, это
всего-навсего индивид.*

Л. – Ф. Селин. «Церковь»

Посвящается Бобру¹

Jean-Paul Sartre
LA NAUSEE

Перевод с французского Ю. Яхниной

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, 1938

© Перевод. Ю.Я. Яхнина, наследники, 2012

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

¹ Бобр – дружеское прозвище Симоны де Бовуар.

От издателей

Эти тетради были обнаружены в бумагах Антуана Рокантена. Мы публикуем их, ничего в них не меняя.

Первая страница не датирована, но у нас есть веские основания полагать, что запись сделана за несколько недель до того, как начат сам дневник. Стало быть, она, вероятно, относится самое позднее к первым числам января 1932 года.

В эту пору Антуан Рокантен, объездивший Центральную Европу, Северную Африку и Дальний Восток, уже три года как обосновался в Бувиле, чтобы завершить свои исторические разыскания, посвященные маркизу де Рольбону.

Листок без даты

Пожалуй, лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться до сути. Не упускать оттенков, мелких фактов, даже если кажется, что они несущественны, и, главное, привести их в систему. Описывать, как я вижу этот стол, улицу, людей, мой кисет, потому что ЭТО-ТО и изменилось. Надо точно определить масштаб и характер этой перемены.

Взять хотя бы вот этот картонный футляр, в котором я держу пузырек с чернилами. Надо попытаться определить, как я видел его до и как я теперь². Ну так вот, это прямоугольный параллелепипед, который выделяется на фоне... Чепуха, тут не о чем говорить. Вот этого как раз и надо остерегаться – изображать странным то, в чем ни малейшей странности нет. Дневник, по-моему, тем и опасен: ты все время начеку, все преувеличиваешь и непрерывно насилуешь правду. С другой стороны, совершенно очевидно, что у меня в любую минуту – по отношению хотя бы к этому футляру или к любому другому предмету – может снова возникнуть позавчерашнее ощущение. Я должен всегда быть к нему готовым, иначе оно снова ускользнет у меня между пальцев. Не надо ничего³, а просто тщательно и в мельчайших подробностях записывать все, что происходит.

Само собой, теперь я уже не могу точно описать все то, что случилось в субботу и позавчера, с тех пор прошло слишком много времени. Могу сказать только, что ни в том, ни в другом случае не было того, что обыкновенно называют «событием». В субботу мальчишки бросали в море гальку – «пекли блины», – мне захотелось тоже по их примеру бросить гальку в море. И вдруг я замер, выронил камень и ушел. Вид у меня, наверно, был странный, потому что мальчишки смеялись мне вслед.

Такова сторона внешняя. То, что произошло во мне самом, четких следов не оставило. Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел ли я на море или на камень. Камень был гладкий, с одной стороны сухой, с другой – влажный и грязный. Я держал его за края, растопырив пальцы, чтобы не испачкаться.

Позавчерашнее было много сложнее. И к нему еще добавилась цепочка совпадений и недоразумений, для меня необъяснимых. Но не стану развлекаться их описанием. В общем-то ясно: я почувствовал страх или что-то в этом роде. Если я пойму хотя бы, чего я испугался, это уже будет шаг вперед.

Занятно, что мне и в голову не приходит, что я сошел с ума, наоборот, я отчетливо сознаю, что я в полном рассудке: перемены касаются окружающего мира. Но мне хотелось бы в этом убедиться.

10 часов 30 минут⁴

В конце концов, может, это и впрямь был легкий приступ безумия. От него не осталось и следа. Сегодня странные ощущения прошлой недели кажутся мне просто смешными, я не в состоянии их понять. Нынче вечером я прекрасно вписываюсь в окружающий мир, не хуже любого добропорядочного буржуа. Вот мой номер в отеле, окнами на северо-восток. Внизу – улица Инвалидов Войны и стройплощадка нового вокзала. Из окна мне видны красные и белые рекламные огни кафе «Приют путейцев» на углу бульвара Виктора Нуара. Только что прибыл

² Одно слово пропущено. (Прим. издателей).

³ Одно слово зачеркнуто (не то «искажать», не то «измышлять»), другое, написанное сверху, совершенно неразборчиво. (Прим. издателей).

⁴ Речь несомненно идет о вечере. Абзац, который за этим следует, написан гораздо позже предыдущих. Мы полагаем, что запись сделана не раньше чем на другой день. (Прим. издателей).

парижский поезд. Из старого здания вокзала выходят и разбредаются по улицам пассажиры. Я слышу шаги и голоса. Многие ждут последнего трамвая. Должно быть, они сбились унылой кучкой у газового фонаря под самым моим окном. Придется им постоять еще несколько минут – трамвай придет не раньше чем в десять сорок пять. Лишь бы только этой ночью не приехали коммивояжеры: мне так хочется спать, я уже так давно недосыпаю. Одну бы спокойную ночь, одну-единственную, и все снимет как рукой.

Одиннадцать сорок пять, бояться больше нечего – коммивояжеры были бы уже здесь. Разве что появится господин из Руана. Он является каждую неделю, ему оставляют второй номер на втором этаже – тот, в котором биде. Он еще может притащиться, он частенько перед сном пропускает стаканчик в «Приюте путейцев». Впрочем, он не из шумных. Маленький, опрятный, с черными нафабранными усами и в парике. А вот и он.

Когда я услышал, как он поднимается по лестнице, меня даже что-то кольнуло в сердце – так успокоительно звучали его шаги: чего бояться в мире, где все идет заведенным порядком? По-моему, я выздоровел.

А вот и трамвай, семерка. Маршрут: Бойня – Большие доки. Он возвещает о своем прибытии громким лязгом железа. Потом отходит. До отказа набитый чемоданами и спящими детьми, он удаляется в сторону доков, к заводам, во мрак восточной части города. Это предпоследний трамвай, последний пройдет через час.

Сейчас я лягу. Я выздоровел, не стану, как маленькая девочка, изо дня в день записывать свои впечатления в красивую новенькую тетрадь. Вести дневник стоит только в одном случае – если...⁵

⁵ На этом недатированный текст обрывается. (Прим. издателей).

Дневник

Понедельник, 29 января 1932 года

Со мной что-то случилось, сомнений больше нет. Эта штука выявилась как болезнь, а не так, как выявляется нечто бесспорное, очевидное. Она проникла в меня исподтишка, капля по капле: мне было как-то не по себе, как-то неуютно – вот и все. А угнездившись во мне, она затаилась, присмирела, и мне удалось убедить себя, что ничего у меня нет, что тревога ложная. И вот теперь это расцвело пышным цветом.

Не думаю, что ремесло историка располагает к психологическому анализу. В нашей сфере мы имеем дело только с нерасчлененными чувствами, им даются родовые наименования – например, Честолюбие или Корысть. Между тем, если бы я хоть немного знал самого себя, воспользоваться этим знанием мне следовало бы именно теперь.

Например, что-то новое появилось в моих руках – в том, как я, скажем, беру трубку или держу вилку. А может, кто его знает, сама вилка теперь как-то иначе дается в руки. Вот недавно я собирался войти в свой номер и вдруг замер – я почувствовал в руке холодный предмет, он приковал мое внимание какой-то своей необычностью, что ли. Я разжал руку, посмотрел – я держал всего-навсего дверную ручку. Или утром в библиотеке, ко мне подошел поздороваться Самоучка⁶, а я не сразу его узнал. Передо мной было незнакомое лицо и даже не в полном смысле слова лицо. И потом, кисть его руки, словно белый червяк в моей ладони. Я тотчас разжал пальцы, и его рука вяло повисла вдоль тела.

То же самое на улицах – там множество непрерывных подозрительных звуков.

Стало быть, за последние недели произошла перемена. Но в чем? Это некая абстрактная перемена, ни с чем конкретным не связанная. Может, это изменился я? А если не я, то, стало быть, эта комната, этот город, природа; надо выбирать.

Думаю, что изменился я, – это самое простое решение. И самое неприятное. Но все же я должен признать, что мне свойственны такого рода внезапные превращения. Дело в том, что размышляю я редко и во мне накапливается множество мелких изменений, которых я не замечаю, а потом в один прекрасный день совершается настоящая революция. Вот почему людям представляется, что я веду себя в жизни непоследовательно и противоречиво. К примеру, когда я уехал из Франции, многие считали мой поступок блажью. С таким же успехом они могли бы толковать о блажи, когда после шестилетних скитаний я внезапно вернулся во Францию. Я, как сейчас, вижу себя вместе с Мерсье в кабинете этого французского чиновника, который в прошлом году вышел в отставку в связи с делом Петру. А тогда Мерсье собирался в Бенгалию с какими-то археологическими планами. Мне всегда хотелось побывать в Бенгалии, и он стал уговаривать меня поехать с ним. С какой целью, я теперь и сам не пойму. Может, он не доверял Порталю и надеялся, что я буду за ним присматривать. У меня не было причин для отказа. Даже если бы в ту пору я догадался об этой маленькой хитрости насчет Порталю, тем больше оснований у меня было с восторгом принять предложение. А меня точно разбил паралич, я не мог вымолвить ни слова. Я впился взглядом в маленькую кхмерскую статуэтку на зеленом коврике рядом с телефонным аппаратом. И мне казалось, что я весь до краев налился то ли лимфой, то ли теплым молоком. Мерсье с ангельским терпением, маскировавшим некоторое раздражение, втолковывал мне:

⁶ Ожье П... о котором часто упоминается в дневнике. Он был канцелярским служащим. Рокантен познакомился с ним в 1930 году в бувильской библиотеке. (Прим. издателей).

– Вы же понимаете, мне надо все официально оформить. Я уверен, что в конце концов вы скажете «да», так лучше уж соглашайтесь сразу.

У него была черная с рыжеватым отливом сильно надушенная борода. При каждом движении его головы меня обдавало волной духов. И я вдруг очнулся от шестилетней спячки.

Статуетка показалась мне противной и глупой, я почувствовал страшную скуку. Я никак не мог взять в толк, зачем меня занесло в Индонезию. Что я тут делаю? Зачем говорю с этими людьми? Почему я одет в этот дурацкий костюм? Страсть моя умерла. Она заполняла и морочила меня много лет подряд – теперь я был опустошен. Но это еще не самое худшее: передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, маячила некая мысль – обширная и тусклая. Трудно сказать, в чем она заключалась, но я не мог на нее глядеть: так она была мне омерзительна. И все это слилось для меня с запахом, который шел от бороды Мерсье.

Я встряхнулся, преисполненный злобы на Мерсье, и сухо ответил:

– Спасибо, но я уже слишком давно разъезжаю, пора возвращаться во Францию.

И через два дня сел на пароход, идущий в Марсель. Если я не ошибаюсь, если все накапливающиеся симптомы предвещают новый переворот в моей жизни, скажу прямо – я боюсь. И не потому, что жизнь моя так уж богата, насыщена, драгоценна. Я боюсь того, что готово народиться, что завладеет мной и увлечет меня – куда? Неужели мне опять придется уехать, бросить, не закончив, все, что я начал – исследования, книгу? И потом через несколько месяцев, через несколько лет вновь очнуться изнуренным, разочарованным среди новых руин? Я должен разобраться в себе, пока не поздно.

Вторник, 30 января

Ничего нового.

С девяти до часа работал в библиотеке. Привел в порядок XII главу и все, что касается пребывания Рольбона в России до смерти Павла I. Эта часть работы закончена – к ней нужно будет вернуться только при переписке набело.

Сейчас половина второго. Сажу в кафе «Мабли», ем сэндвич, все почти в порядке. Впрочем, в любом кафе все всегда в порядке, и в особенности в кафе «Мабли» благодаря хозяину мсье Фаскелю, на лице которого с успокоительной определенностью написано: «прохвост». Близится час, когда он уходит поспать, глаза у него уже покраснели, но повадка все такая же живая и решительная. Он прохаживается между столиками, доверительно наклоняясь к клиентам:

– Все хорошо, мсье?

Я с улыбкой наблюдаю его оживление – в часы, когда его заведение пусто, пустеет и его голова. С двух до четырех в кафе никого не остается, тогда мсье Фаскель сонно делает несколько шагов, официанты гасят свет, и сознание его выключается – наедине с собой этот человек всегда спит.

Но пока в кафе еще остается десятка два клиентов – это холостяки, невысокого ранга инженеры, служащие. Обычно они наспех обедают в семейных пансионах, которые зовут своей столовкой, и поскольку всем им хочется позволить себе шикнуть, они, пообедав, приходят сюда выпить по чашечке кофе и поиграть в кости. Они шумят, негромко и нестройно, – такой шум мне не мешает. Им тоже, чтобы существовать, надо держаться кучно.

А я живу один, совершенно один. Не разговариваю ни с кем и никогда; ничего не беру, ничего не даю. Самоучка не в счет. Есть, конечно, Франсуаза, хозяйка «Приюта Путейцев». Но разве я с ней разговариваю? Иногда после ужина, когда она подает мне кружку пива, я спрашиваю:

– У вас сегодня вечером найдется минутка?

Она никогда не говорит «нет», и я иду за ней следом в одну из больших комнат на втором этаже, которые она сдает за почасовую или поденную плату. Я ей не плачу – мы занимаемся любовью на равных. Она получает от этого удовольствие (мужчина ей нужен каждый день, и кроме меня у нее есть еще много других), а я освобождаюсь от приступов меланхолии, причины которой мне слишком хорошо известны. Но мы почти не разговариваем. Да и к чему? Каждый занят собой, впрочем, для нее я прежде всего клиент ее кафе.

– Скажите, – говорит она, стягивая с себя платье, – вы пробовали аперитив «Брико»? На этой неделе его заказали двое клиентов. Официантка не знала, пришла и спрашивает у меня. А это коммивояжеры, они, наверно, пили его в Париже. Но я, когда чего не знаю, покупать не люблю. Если вы не против, я останусь в чулках.

В прежнее время, бывало, она уйдет, а я еще долго думаю об Анни. Теперь я не думаю ни о ком; я даже не ищу слов. Это перетекает во мне то быстрее, то медленнее, я не стараюсь ничего закреплять, течет, ну и пусть себе. Оттого что мысли мои не облекаются в слова, чаще всего они остаются хлопьями тумана. Они принимают смутные, причудливые формы, набегают одна на другую, и я тотчас их забываю.

Эти парни меня восхищают: прихлебывая свой кофе, они рассказывают друг другу истории, четкие и правдоподобные. Спросите их, что они делали вчера, – они ничуть не смутятся, в двух словах они вам все объяснят. Я бы на их месте начал мямлить. Правда и то, что уже давным-давно ни одна душа не интересуется, как я провожу время. Когда живешь один, вообще забываешь, что значит рассказывать: правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями. События тоже текут мимо: откуда ни возьмись появляются люди, что-то говорят, потом уходят, и ты барахтаешься в историях без начала и конца – свидетель из тебя был бы никудышный. Зато все неправдоподобное, все то, во что не поверят ни в одном кафе, – этого хоть пруд пруди. Вот, к примеру, в субботу, часа в четыре пополудни, по краю деревянного настила возле площадки, где строят новый вокзал, бежала, пялась, маленькая женщина в голубом и смеялась, махая платком. В это же самое время за угол этой улицы, насвистывая, сворачивал негр в плаще кремового цвета и зеленой шляпе. Женщина, все так же пялась, налетела на него под фонарем, который подвешен к дощатому забору и который зажигают по вечерам. Таким образом здесь оказались сразу: резко пахнувший сырым деревом забор, фонарь, славная белокурая малютка в голубом в объятьях негра под пламенеющим небом. Будь нас четверо или пятеро, мы, наверно, отметили бы это столкновение, эти нежные краски, красивое голубое пальто, похожее на пуховую перинку, светлый плащ, красные стекла фонаря, мы посмеялись бы над растерянным выражением двух детских лиц.

Но одинокого человека редко тянет засмеяться – группа приобрела для меня на миг острый, даже свирепый, хотя и чистый смысл. Потом она распалась, остался только фонарь, забор и небо – это тоже было все еще довольно красиво. Час спустя зажгли фонарь, поднялся ветер, небо почернело – и все исчезло.

Все это не ново; я никогда не чурался этих безобидных ощущений – наоборот. Чтобы к ним приобщиться, довольно почувствовать себя хоть капельку одиноким – ровно настолько, чтобы на некоторое время освободиться от правдоподобия. Но я всегда оставался среди людей, на поверхности одиночества, в твердой решимости при малейшей тревоге укрыться среди себе подобных – по сути дела, до сих пор я был просто любителем.

А теперь меня повсюду окружают вещи – к примеру, вот эта пивная кружка на столе. Когда я ее вижу, мне хочется крикнуть: «Чур, не играю». Мне совершенно ясно, что я зашел слишком далеко. Наверно, с одиночеством нельзя играть «по маленькой». Это вовсе не значит, что теперь перед сном я заглядываю под кровать или боюсь, что посреди ночи моя дверь вдруг распахнется настежь. И все-таки я встревожен: вот уже полчаса я избегаю СМОТРЕТЬ на эту пивную кружку. Я смотрю поверх нее, ниже нее, правее, левее – но ЕЕ стараюсь не видеть. И прекрасно знаю, что холостяки, которые сидят вокруг, ничем мне помочь не могут: поздно, я

уже не могу укрыться среди них. Они хлопнут меня по плечу, скажут: «Ну и что, что в ней такого, в этой пивной кружке? Кружка как кружка. Граненая, с ручкой, с маленькой эмблемой – герб, в нем лопата и надпись «Шпатенброй».

Я все это знаю, но знаю, что в ней есть и кое-что другое. Ничего особенного. Но я не могу объяснить, что я вижу. Никому не могу объяснить. В этом все и дело – я тихо погружаюсь на дно, туда, где страх.

Среди этих веселых и здравых голосов я один. Парни вокруг меня все время говорят друг с другом, с ликованием обнаруживая, что их взгляды совпадают. Господи, как они дорожат тем, что все думают одно и то же. Стоит только посмотреть на выражение их лиц, когда среди них появляется вдруг человек с взглядом, как у вытащенной из воды рыбы, устремленным внутрь себя, человек, с которым ну никак невозможно сойтись во мнениях. Когда мне было восемь лет и я играл в Люксембургском саду, был один такой человек – он усаживался под навесом у решетки, выходящей на улицу Огюста Конта. Он не говорил ни слова, но время от времени вытягивал ногу и с испугом на нее смотрел. Эта нога была в ботинке, но другая в шлепанце. Сторож объяснил моему дяде, что этот человек – бывший классный надзиратель. Его уволили в отставку, потому что он явился в классы зачитывать отметки за четверть в зеленом фраке академика. Он внушал нам невыразимый ужас, потому что мы чувствовали, что он одинок. Однажды он улыбнулся Роберу, издали протянув к нему руки, – Робер едва не лишился чувств. Этот тип внушал нам ужас не жалким своим видом и не потому, что на шее у него был нарост, который терся о край пристежного воротничка, а потому, что мы чувствовали: в его голове шевелятся мысли краба или лангуста. И нас приводило в ужас, что мысли лангуста могут вращаться вокруг навеса, вокруг наших обручей, вокруг садовых кустов.

Неужели мне уготована такая участь? В первый раз в жизни мне тяжело быть одному. Пока еще не поздно, пока я еще не навожу страх на детей, я хотел бы с кем-нибудь поговорить о том, что со мной происходит.

Странно, я исписал десять страниц, а правды так и не сказал – во всяком случае, всей правды. Когда сразу после даты я написал: «Ничего нового», я был неискренен – в действительности маленькое происшествие, в котором нет ничего постыдного или необычного, не хотело ложиться на бумагу. «Ничего нового». Просто диву даешься, как можно лгать, прикрываясь здравым смыслом. Если угодно, и в самом деле ничего нового не произошло, когда сегодня утром, выйдя из гостиницы «Прентания», по пути в библиотеку, я захотел и не смог подобрать валявшийся на земле клочок бумаги. Только и всего, это даже нельзя назвать происшествием. Но если говорить честно, меня оно глубоко взволновало – я подумал: отныне я не свободен. В библиотеке я тщетно старался отделаться от этой мысли. Решил убежать от нее в кафе «Мабли». Надеялся, что она рассеется при свете огней. Но она осталась сидеть во мне, гнетущая, мучительная. Это она продиктовала мне предшествующие страницы.

Почему же я о ней не упомянул? Наверно, из гордости, а может, отчасти по неумению. У меня нет привычки рассказывать самому себе о том, что со мной происходит, поэтому я не могу воспроизвести события в их последовательности, не умею выделить главное. Но теперь кончено – я перечел то, что записал в кафе «Мабли», и мне стало стыдно: довольно утаек, душевных переливов, неизъяснимого, я не девица и не священник, чтобы забавляться игрой в душевные переживания.

Рассуждать тут особенно не о чем: я не смог подобрать клочок бумаги, только и всего.

Вообще я очень люблю подбирать каштаны, старые лоскутки и в особенности бумажки. Мне приятно брать их в руки, стискивать в ладони, еще немного – и я совал бы их в рот, как дети. Анни просто из себя выходила, когда я за уголок тянул к себе роскошный, плотный лист бумаги, весьма вероятно выпачканный в дерьме. Летом и в начале осени в садах валяются обрывки выжженных солнцем газет, сухие и ломкие, как опавшие листья, и такие желтые, словно их обработали пикриновой кислотой. А зимой одни бумажки распластаны, растоптаны,

испачканы, они возвращаются в землю. А другое, новенькие, даже глянцевиные, белоснежные и трепещущие, похожи на лебедей, хотя земля уже облепила их снизу. Они извиваются, вырываются из грязи, но в нескольких шагах распластываются на земле – и уже навсегда. И все это приятно подбирать. Иногда я просто ошупываю бумажку, поднося совсем близко к глазам, иногда просто рву, чтобы услышать ее долгий хруст, а если бумага совсем мокрая, поджигаю ее, что вовсе не так просто, и потом вытираю грязные ладони о какую-нибудь стену или ствол.

И вот сегодня я загляделся на рыжеватые сапоги кавалерийского офицера, который вышел из казармы. Проследив за ними глазами, я заметил на краю лужи клочок бумаги. Я подумал: сейчас офицер втопчет бумажку сапогом в грязь – ан нет, он разом перешагнул и бумажку и лужу. Я подошел ближе – это оказалась страница линованной бумаги, судя по всему, вырванная из школьной тетради. Намокшая под дождем, она вся измялась, вздулась и покрылась волдырями, как обожженная рука. Красная полоска полей слиняла розоватыми подтеками, местами чернила расплылись. Нижнюю часть страницы скрывала засохшая корка грязи. Я наклонился, уже предвкушая, как дотронусь до этого нежного сырого теста и мои пальцы скатают его в серые комочки... И не смог.

Секунду я стоял нагнувшись, прочел слова: «Диктант. Белая сова» – и распрямылся с пустыми руками. Я утратил свободу, я больше не властен делать то, что хочу.

Предметы не должны нас **БЕСПОКОИТЬ**: ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны – вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами!

Теперь я понял – теперь мне точнее помнится то, что я почувствовал однажды на берегу моря, когда держал в руках гальку. Это было какое-то сладковатое омерзение. До чего же это было гнусно! И исходило это ощущение от камня, я уверен, это передавалось от камня моим рукам. Вот именно, совершенно точно: руки словно бы тошнило.

Четверг утром, в библиотеке

Только что, спускаясь по лестнице отеля, я слышал, как Люси в сотый раз плакалась хозяйке, продолжая воцить ступени. Хозяйка отвечала с натугой, короткими фразами – она еще не успела вставить зубной протез; она была полуголая, в розовом халате и в домашних туфлях. Люси, по своему обыкновению, ходила замарашкой; время от времени переставая натирать ступени, она выпрямлялась на коленях, чтобы взглянуть на хозяйку. Говорила она без передышки, рассудительным тоном.

– По мне, в сто раз лучше, если бы он бабником был, – говорила она. – Я бы на это рукой махнула, лишь бы ему вреда ни было.

Речь шла о ее муже. Эта чернявая коротышка в сорок лет, скопив денег, приобрела себе восхитительного парня, слесаря-монтажника с заводов Лекуэнт. Брак оказался несчастлив. Муж не бьет Люси, не обманывает, но он пьет, каждый вечер он приходит домой пьяным. Дела его плохи – за три месяца он на моих глазах пожелтел и истаял. Люси думает, что это от пьянства. По-моему, скорее от туберкулеза.

– Надо крепиться, – говорит Люси.

Я уверен, это ее гложет, но исподволь, неторопливо: она крепится, она не в состоянии ни утешиться, ни отдаться своему горю. Она думает о своем горе понемножку, именно понемножку, капельку сегодня, капельку завтра, она извлекает из него барыш. В особенности на людях, потому что ее жалеют, да к тому же ей отчасти приятно рассуждать о своей беде благоразумным тоном, словно давая советы. Я часто слышу, как, оставшись в номерах одна, она тихонько мурлычет, чтобы не думать. Но целыми днями она ходит угрюмая, чуть что никнет и дуется.

– Это сидит вот здесь, – говорит она, прикладывая руку к груди. – И не отпускает.

Она расходует свое горе, как скупец. Должно быть, она так же скупа и в радостях. Интересно, не хочется ли ей порой избавиться от этой однообразной муки, от этого брюзжания, которое возобновляется, едва она перестает напевать, не хочется ли ей однажды испытать страдание полной мерой, с головой уйти в отчаяние.

Впрочем, для нее это невозможно – она зажата.

Четверг, после полудня

«Маркиз де Рольбон внешне был безобразен. Королева Мария-Антуанетта часто называла его своей «милой обезьянкой». И однако, он одерживал победы над всеми придворными дамами, и не фиглярствуя, как урод Буазенон, а посредством магнетизма, который внушал красавицам страсть, толкавшую их на совершенные безумства. Он интригует, играет довольно двусмысленную роль в деле с ожерельем и после длительных сношений с Мирабо-Тонно и Нерсиа в 1790 году исчезает со сцены. Он появляется вновь уже в России, где прилагает руку к убийству Павла I, а потом отправляется путешествовать в еще более дальние края – Индию, Китай и Туркестан. Он обделяет сомнительные коммерческие дела, составляет заговоры, шпионит. В 1813 году он возвращается в Париж и в 1816-м становится всемогущим: он – единственный наперсник герцогини Ангулемской. Эта капризная старуха, одержимая зловещими воспоминаниями детства, завидев маркиза, расплывается в умиротворенной улыбке. Покровительствуемый ею Рольбон делает погоду при дворе. В марте 1820 года он женится на восемнадцатилетней красавице мадемуазель де Роклор. Маркизу де Рольбону в эту пору исполнилось семьдесят, он на вершине почестей, жизнь его достигла апогея. Семь месяцев спустя по обвинению в измене он арестован, брошен в темницу, где умирает, пробыв в заключении пять лет и так и не дождавшись расследования своего дела».

Я с грустью перечитал эту заметку Жермена Берже⁷. С этих нескольких строк и началось мое знакомство с маркизом де Рольбоном. Как он меня обворожил, как я влюбился в него по прочтении этих скупых слов! Из-за него, из-за этого маленького человечка, я и оказался здесь. Возвратившись из своих странствий, я с таким же успехом мог обосноваться в Париже или в Марселе. Но большая часть документов, связанных с длительными периодами жизни маркиза во Франции, сосредоточена в муниципальной библиотеке Бувиля. Рольбон владел родовым поместьем в Маромме. До войны в этом местечке еще жил один из его потомков, архитектор Рольбон-Кампуире, который умер в 1912 году, завещав бувильской библиотеке богатейший архив: письма маркиза, часть его дневника, разного рода документы. Я до сих пор еще не все разобрал.

Я рад, что нашел свои заметки. Я не перечитывал их десять лет. Мне кажется, мой почерк изменился: раньше он был более убористым. Как я любил в тот год маркиза де Рольбона! Помню, однажды вечером (это было во вторник) я целый день проработал в библиотеке Мазарини. По переписке маркиза 1789–1790 годов я угадал, как ловко он провел Нерсиа. Было темно, я шел по авеню Мен и на углу улицы Гэте купил себе жареных каштанов. Ох, и счастлив же я был! Я смеялся про себя, воображая, какую физиономию скорчил Нерсиа, вернувшись из Германии. Образ маркиза вроде этих чернил – с тех пор как я начал им заниматься, он заметно выцвел.

Прежде всего я не могу понять его поведения начиная с 1801 года. И дело не в том, что не хватает документов, – сохранились письма, обрывки воспоминаний, секретные донесения, архивы полиции. Документов, наоборот, едва ли не слишком много. Но этим свидетельствам недостает определенности, основательности. Они не противоречат друг другу, нет, но и не согласуются друг с другом. Словно речь в них идет не об одном и том же человеке.

⁷ Берже Жермен. Мирабо-Тонно и его друзья. Шампюан. 1906. С. 406. Прим. 2. (Прим. издателей).

И однако, другие историки работают с материалами такого рода. Как же поступают в подобных случаях они? Что я, более дотошен или менее проникателен? Впрочем, такая постановка вопроса меня совершенно не волнует. Чего я, собственно говоря, ищущу? Не знаю. В течение долгого времени Рольбон-человек интересовал меня куда больше, чем книга, которую я должен написать. А теперь этот человек... человек начал мне надоедать. Теперь мне важна книга, я чувствую все большую потребность ее написать – пожалуй, тем большую, чем старше становлюсь сам. И впрямь можно допустить, что Рольбон принял деятельное участие в убийстве Павла I, что потом он согласился стать царским шпионом на Востоке, но все время предавал Александра в пользу Наполеона. Он вполне мог в эту же пору поддерживать переписку с графом д'Артуа, посылая тому не имеющие никакой ценности донесения, чтобы уверить графа в своей преданности, – все это вполне правдоподобно. Фуше в это же время играл комедию куда более сложную и опасную. Возможно также, что маркиз ради собственной выгоды продавал ружья азиатским государствам.

Да, бесспорно, все это он мог делать. Но это не доказано; я начинаю думать, что доказать вообще никогда ничего нельзя. Все это частные гипотезы, опирающиеся на факты, – но я чувствую, что исходят они от меня, это просто способ обобщить мои сведения. Однако сам Рольбон ни гугу. Вялые, ленивые, угрюмые факты группируются в том порядке, какой им придал я, но этот порядок навязан им извне. У меня такое чувство, будто в процессе работы я просто отдавался игре собственного воображения. И при этом, я уверен, пиши я роман, его персонажи были бы более правдивыми или во всяком случае более забавными.

Пятница

Три часа. Три часа – это всегда слишком поздно или слишком рано для всего, что ты собираешься делать. Странное время дня. А сегодня просто невыносимое.

Холодное солнце выбелило пыль на оконных стеклах. Бледное, белесоватое небо. Утром подморозило ручейки.

Я сижу у калорифера, вяло переваривая пищу. Я знаю заранее – сегодняшний день потерян. Ничего путного мне не сделать, разве когда стемнеет. И все из-за солнца: оно подернуло позолотой грязную белую мглу, висящую над стройкой, оно струится в мою комнату, желтоватое, бледное, ложась на мой стол четырьмя тусклыми, обманчивыми бликами.

На моей трубке мазок золотистого лака, вначале он привлекает взор своей иллюзорной праздничностью, но вот ты глядишь на трубку, и лак плавится, и не остается ничего, кроме куска дерева, и на нем большое блеклое пятно. И так со всем, решительно со всем, даже с моими руками. Когда бывает такое солнце, лучше всего лечь спать. Но этой ночью я спал как убитый – сна у меня ни в одном глазу.

Мне так нравилось вчерашнее небо – стиснутое, черное от дождя, которое прижималось к стеклам, словно смешное и трогательное лицо. А нынче солнце не смешное, куда там... На все, что я люблю: на ржавое железо стройки, на подгнившие доски забора – падает скупой и трезвый свет, точь-в-точь взгляд, которым после бессонной ночи оцениваешь решения, с подъемом принятые накануне, страницы, написанные на одном дыхании, без помарок. Четыре кафе на бульваре Виктора Нуара, которые ночью искрятся огнями по соседству друг с другом, – ночью они не просто кафе, это аквариумы, корабли, звезды, а не то огромные белые глазницы – утратили свое двусмысленное очарование.

Отличный день, чтобы критически оценить самого себя: холодные лучи, которые солнце бросает на все живое, словно подвергая его беспощадному суду, в меня проникают через глаза: мое нутро освещено обесценивающим светом. Я знаю, мне хватит четверти часа, чтобы дойти до крайней степени отвращения к самому себе. Дудки. Мне это ни к чему. Не стану я также перечитывать то, что написал накануне о пребывании Рольбона в Санкт-Петербурге. Я сижу,

уронив руки, или пишу какие-то жалкие слова, зеваю и жду, чтобы настал вечер. Когда стемнеет, я вместе со всеми окружающими предметами вырвусь из этой мути.

Принимал Рольбон или нет участие в убийстве Павла I? На сегодня это главный вопрос: я уперся в него и, пока его не решу, не могу двинуться дальше.

Если верить Черкову, маркиза купил граф Пален. Большая часть заговорщиков, утверждает Черков, хотела только низложить царя и заточить в тюрьму. (Кажется, Александр и в самом деле был сторонником такого решения.) Но Пален стремился покончить с Павлом раз и навсегда. Маркизу Рольбону поручено было, переговорив с каждым из заговорщиков по отдельности, склонить их всех к убийству.

«Он каждому из них нанес визит и с необыкновенной выразительностью представил в лицах сцену, которая должна разыграться. Таким образом он пробудил, а может быть усилил, в них жажду убийства».

Но Черкову я не доверяю. Это не трезвый свидетель, а полусумасшедший знахарь-сацист: он всегда все сводит к демонизму. Я совершенно не представляю маркиза де Рольбона в этой мелодраматической роли. Он в лицах изобразил сцену убийства? Полноте! Маркиз – человек холодный, ему не свойственно увлекать, он не живописует, он внушает, и этот способ воздействия, бесцветный и невыразительный, может найти отклик только у людей его пошиба – расудочных интриганов, политиков.

«Адемар де Рольбон, – писала мадам де Шарьер, – рассказывая, не рисовал картин, не жестикулировал, не разнообразил интонации. Он говорил, полузакрыв глаза так, что сквозь сомкнутые ресницы едва просвечивал ободок его серых зрачков. Всего несколько лет назад я решилась наконец признаться самой себе, что он наводит на меня невыносимую скуку. Его разговоры напоминают сочинения аббата Мабли».

И этот человек своим мимическим даром способен был... Хотя в таком случае как ему удавалось соблазнять женщин? К тому же Сегюр описывает забавный случай, который кажется мне правдоподобным:

«В 1787 году неподалеку от Мулена на постоялом дворе умирал старик, друг Дидро, воспитанный на сочинениях философов. Окрестные священники выбились из сил: старик не желал принять соборование – он был пантеистом. Проезжавший мимо маркиз де Рольбон, который не верил ни в Бога, ни в черта, побился об заклад с муленским кюре, что ему не понадобится и двух часов, чтобы вернуть больного в лоно христианской церкви. Кюре принял пари и проиграл: больной, за которого маркиз взялся в три часа ночи, в пять утра исповедался и в семь утра умер. «Неужели вы так сильны в диспуте? – спросил кюре. – Вы заткнули за пояс всех нас!» – «А я вовсе не затевал диспута, – ответил маркиз. – Я просто запугал его адом».

Так вот, верно ли, что он принимал деятельное участие в заговоре? В тот вечер, около восьми, офицер из числа друзей маркиза проводил Рольбона до дверей его дома. Если Рольбон снова вышел, как он мог пройти по улицам Санкт-Петербурга и не попасть под арест? Полубезумный Павел отдал приказ после девяти вечера задерживать всех прохожих, кроме повитух и врачей. Неужто поверить нелепой легенде, будто Рольбон, чтобы добраться до дворца, переоделся повитухой? Впрочем, маркиз был на это способен. Так или иначе, по-видимому, доказано, что в ночь убийства дома его не было. Судя по всему, Александр всерьез подозревал Рольбона, потому что после воцарения поспешил удалить маркиза под предлогом какого-то невнятного поручения на Дальний Восток.

Маркиз де Рольбон мне смертельно надоел. Я встаю. Передвигаюсь в худосочном освещении и вижу, как оно меняется на моих руках, на рукавах моей рубашки, – не могу выразить, до чего оно мне противно. Зеваю. Зажигаю настольную лампу – может, ее свет заглушит дневной. Нет, лампа образует только жалкую лужицу вокруг своей подставки. Гашу лампу, снова встаю. На стене зияет белая дыра – зеркало. Это ловушка. И я знаю, что попадусь в нее. Так и есть. В зеркале появилось нечто серое. Подхожу, гляжу и отойти уже не могу.

Это отражение моего лица. В такие гиблые дни я часто его рассматриваю. Ничего я не понимаю в этом лице. Лица других людей наделены смыслом. Мое – нет. Я даже не знаю, красивое оно или уродливое. Думаю, что уродливое – поскольку мне это говорили. Но меня это не волнует. По сути, меня возмущает, что лицу вообще можно приписывать такого рода свойства – это все равно что назвать красавцем или уродом горсть земли или кусок скалы.

Впрочем, есть одна вещь, которая радует глаз: повыше вялого пространства щек, повыше лба мой череп золотит прекрасное рыжее пламя – мои волосы. Вот на них смотреть приятно. По крайней мере, это совершенно определенный цвет, и я доволен, что я рыжий. В зеркале это особенно бросается в глаза – волосы лучатся. Все-таки мне повезло: если бы мой лоб украшала тусклая шевелюра, из тех, что никак не могут решиться, пристать им к блондинам или к шатенам, лицо мое расплылось бы мутным пятном, и меня воротило бы от него.

Мой взгляд медленно и неохотно скользит вниз – на лоб, на щеки: ничего устойчивого, все зыбко. Само собой, нос, глаза и рот на месте, но все это лишено смысла, лишено даже человеческого выражения. Однако Анни и Велин находили, что у меня живая физиономия, – может, я к ней просто слишком привык. В детстве моя тетка Бижуга говорила мне: «Будешь слишком долго глядеться в зеркало, увидишь в нем обезьяну». Но должно быть, я гляделся еще дольше – то, что я вижу в зеркале, куда ниже обезьяны, это нечто на грани растительного мира, на уровне полипов. Я не отрицаю, это нечто живое, но не об этой жизни говорила Анни; я вижу какие-то легкие подергивания, вижу, как трепещет обильная, блеклая плоть. С такого близкого расстояния в особенности отвратительны глаза. Нечто стеклянистое, податливое, слепое, обведенное красным – ну в точности рыба чешуя.

Всей тяжестью навалившись на фаянсовую раму, я приближаю свое лицо к стеклу, пока оно не упирается в него вплотную. Глаза, нос, рот исчезают – не остается ничего человеческого. Коричневатые морщины по обе стороны горячечно вспухших губ, трещины, бугорки. Широкие покатости щек покрыты светлым шелковистым пушком, из ноздрей торчат два волоска: ну прямо рельефная карта горных пород. И несмотря ни на что, этот призрачный мир мне знаком. Я не то чтобы УЗНАЮ его подробности. Но все вместе вызывает у меня ощущение «уже виденного», от этого я тупею и меня потихоньку клонит в сон.

Мне хочется встряхнуться – живое, резкое ощущение помогло бы мне. Я прижимаю левую ладонь к щеке и оттягиваю кожу – в зеркале гримаса. Половина моего лица съехала в сторону, левая часть рта скривилась, вздулась, обнажив зуб: в расщелине показалась белая выпуклость и розовая кровотокающая плоть. Не к этому я стремился – опять ничего нового, ничего твердого, все мягкое, податливое, уже виденное! Засыпаю с открытыми глазами, и вот уже мое лицо в зеркале растет, растет, это огромный бледный, плавающий в солнечном свете ореол...

Просыпаюсь я оттого, что едва не потерял равновесия. Я сижу верхом на стуле, все еще одурелый. Неужели другие тоже так мучаются, изучая свое лицо? Мне кажется, я воспринимаю свое лицо так же, как ощущаю свое тело, – каким-то подспудным органическим чувством. Ну, а другие как? Маркиз де Рольбон, например? Неужели его тоже клонило в сон, когда он видел в зеркалах то, о чем мадам Жанлис говорит: «Его опрятное морщинистое личико, все изрытое оспинами, на котором было написано выражение какого-то особенного плутовства, бросавшееся в глаза, несмотря на все старания маркиза его скрыть. Он очень заботился о своей прическе, – добавляет мадам Жанлис. – Я ни разу не видела его без парика. Но щеки у него были сизые, едва ли не с черным отливом, потому что у маркиза была густая борода, а он желал бриться сам и делал это очень неумело. Он имел обыкновение, по примеру Гримма, мазаться свинцовыми белилами. Мсье Данжевилль говаривал, что эта смесь синего с белым придает Рольбону сходство с рокфором».

Думаю, что маркиз был занятой личностью. Однако глазам мадам Шарьер он все-таки представлялся совсем иным. Насколько я понимаю, она считала его скорее бесцветным.

Может, собственное лицо понять невозможно. А может, это оттого, что я один? Люди, общающиеся с другими людьми, привыкают видеть себя в зеркале глазами своих друзей. У меня нет друзей – может быть, поэтому моя плоть так оголена? Ни дать ни взять – ну да, ни дать ни взять, природа без человека.

Нет охоты работать, все валится из рук – подожду, пока стемнеет.

Половина шестого

Дело плохо! дело просто дрянь: гадина. Тошнота, все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое – это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем – там всегдалюдно и много света; теперь не осталось и их; а если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться.

Я пришел, чтобы переспать с хозяйкой, но не успел открыть дверь, как Мадлена, официантка, крикнула:

– А хозяйки нет, она в город ушла, за покупками.

Я ощутил резкое, неприятное чувство внизу живота – долгий зуд разочарования. И в то же время почувствовал, как рубашка трется о мои соски, и меня вдруг взяла в кольцо, подхватила медленная разноцветная карусель; закружила мгла, закружили огни в табачном дыму и в зеркале, а с ними поблескивающие в глубине зала сиденья, и я не мог понять, откуда все это и почему. Я застыл на пороге, потом что-то сместилось, по потолку скользнула тень, меня подтолкнуло вперед. Все плыло, я был оглушен этой сверкающей мглой, которая вливалась в меня сразу со всех сторон. Подплыла Мадлена, чтобы помочь мне снять пальто; она зачесала волосы назад и надела серьги – я ее не узнавал. Я уставился на ее громадные щеки, которым не было конца и которые убегали к ушам. На щеках, во впадине под выступом скул особняком розовели два пятна, и, казалось, они изнывают от скуки на этой убогой плоти. А щеки все убегали и убегали к ушам, а Мадлена улыбалась.

– Что будете пить, мсье Антуан?

И вот тут меня охватила Тошнота, я рухнул на стул, я даже не понимал, где я; вокруг меня медленно кружили все цвета радуги, к горлу подступила рвота. С тех пор Тошнота меня не отпускает, я в ее власти.

Я расплатился, Мадлена унесла блюдечко. Моя кружка плющит на мраморной столешнице лужицу желтого пива, на которой вздулся пузырь. Сиденье подо мной продавлено: чтобы с него не свалиться, я плотно прижимаю к полу подошвы; холодно. Справа от меня на столике, покрытом суконной салфеткой, идет карточная игра. Войдя, я не разглядел игроков, я только почувствовал, что частью на стульях, частью на столике в глубине шевелится какая-то теплая масса, мельтешат несколько пар рук. Потом Мадлена принесла им карты, сукно и в деревянной площадке жетоны. Игроков не то трое, не то пятеро, не знаю, у меня не хватает мужества на них посмотреть. Во мне лопнула какая-то пружина – я могу двигать глазами, но не головой. Голова размякла, стала какой-то резиновой, она словно бы еле-еле удерживается на моей шее – если я ее поверну, она свалится. И все же я слышу одышливое дыхание и время от времени краем глаза вижу багрово-красный в белых волосках промельк. Это рука.

Когда хозяйка ходит за покупками, за стойкой ее заменяет кузен. Зовут его Адольф. Я начал его рассматривать, еще усаживаясь на стул, и теперь продолжаю рассматривать, потому что не могу повернуть головы. Он без пиджака, в рубашке и фиолетовых подтяжках. Рукава Адольф засучил выше локтей. Подтяжки почти не видны на голубой рубахе, они затерты голубым, утонули в нем – но это ложное самоуничижение, они не дают забыть о себе, они раздражают меня своим ослиным упрямством, кажется, будто они, вознамерившись стать фиолетовыми, застряли на полпути, но от планов своих не отказались. Так и хочется им сказать: «Ну, решайтесь же, СТАНЬТЕ, наконец, фиолетовыми, и покончим с этим». Так нет же, они – ни

туда, ни сюда, они запнулись в своем незавершенном усилии. Иногда голубизна наплывает на них и полностью их накрывает – несколько мгновений я их не вижу. Но это лишь набежавшая волна, вскоре голубизна местами вянет и появляются робкие островки фиолетового цвета, они ширятся, сливаются и вновь образуют подтяжки. Глаз у кузена Адольфа нет, под набухшими приподнятыми веками едва виднеются белки. Адольф сонно улыбается; время от времени он фыркает, повизгивает и вяло отмахивается, как пес, которому что-то снится.

Его голубая ситцевая рубашка радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены. Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, ЭТО И ЕСТЬ ТОШНОТА. Тошнота не во мне: я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня. Она составляет одно целое с этим кафе, а я внутри. Справа теплая масса зашумела, руки мельтешат сильнее. «Вот тебе козырь». – «Какой еще козырь?» Длинный черный хребет склонился над картами: «Ха-ха-ха!» – «В чем дело? Это козырь, он с него пошел». – «Не знаю, не видел...» – «Как это не видел, я пошел с козыря». – «Ладно, стало быть, козыри черви». Напевает: «Козыри черви, козыри черви-червяки». Говорит: «Это что еще за штуки, мсье? Это что еще за штуки? Беру!»

И снова молчание – в глотке привкус сладковатого воздуха. Запахи. Подтяжки.

Кузен встает, сделал несколько шагов, заложил руки за спину, улыбается, поднял голову, откинулся назад, опираясь на пятки. И в этой позе заснул. Вот он стоит, покачивается. С лица не сходит улыбка, щеки трясутся. Сейчас он упадет. Он отклоняется назад, все круче, круче, лицо его задрано к потолку, но в ту минуту, когда он уже готов упасть, он ловко хватается за край стойки, восстанавливая равновесие. И все начинается снова. С меня хватит, я подзываю официантку.

– Мадлена, будьте добры, поставьте пластинку. Ту, которую я люблю, вы знаете: «Some of these days»⁸.

– Сейчас, только, может, эти господа будут против. Когда они играют, музыка им мешает. А впрочем, ладно, я их спрошу.

Сделав над собой чудовищное усилие, поворачиваю голову. Их четверо. Мадлена наклоняется к багровому старику, у которого на кончике носа пенсне с черным ободком. Прижимая карты к груди, старик смотрит на меня из-под стекол.

– Пожалуйста, мсье.

Улыбки. Зубы у него гнилые. Красная рука принадлежит не ему, а его соседу, молодчику с черными усами. У этого усача громадные ноздри, таких хватило бы накачать воздуха для целой семьи, они занимают пол-лица, а дышит он ртом, при этом слегка отдуваясь. Еще с ними сидит молодой парень с песьей головой. Четвертого игрока я разглядеть не могу.

Карты падают на сукно по кругу. Руки с кольцами на пальцах подбирают их, царапая коврик ногтями. Руки ложатся на сукно белыми пятнами, на вид они одутловатые и пыльные. На столик падают все новые карты, руки снуют взад и вперед. Странное занятие – оно не похоже ни на игру, ни на ритуал, ни на нервный тик. Наверно, они это делают, просто чтобы заполнить время. Но время слишком емкое, его не заполнишь. Что в него ни опустишь, все размягчается и растягивается. Взять хотя бы движение этой красной руки, которая, спотыкаясь, подбирает карты: оно какое-то дряблое. Его бы вспороть и укрепить изнутри.

Мадлена крутит ручку патефона. Только бы она не ошиблась и не поставила, как случилось однажды, арию из «Cavalleria Rusticana»⁹. Нет, все правильно, я узнаю мотив первых тактов. Это старый РЭГТАИМ, с припевом для голоса. В 1917 году на улицах Ла-Рошели я слышал, как его насвистывали американские солдаты. Мелодия, должно быть, еще довоенная. Но запись сделана позже. И все же это самая старая пластинка в здешней коллекции – пластинка фирмы Пате для сапфировой иглы.

⁸ «Придет день» (англ.).

⁹ «Сельская честь» (итал.).

Сейчас зазвучит припев – он-то и нравится мне больше всего, нравится, как он круто выдается вперед, точно скала в море. Пока что играет джаз; мелодии нет, просто ноты, мириады крохотных толчков. Они не знают отдыха, неумолимая закономерность вызывает их к жизни и истребляет, не давая им времени оглянуться, пожить для себя. Они бегут, толкутся, мимоходом наносят мне короткий удар и гибнут. Мне хотелось бы их удержать, но я знаю: если мне удастся остановить одну из этих нот, у меня в руках окажется всего лишь вульгарный, немощный звук. Я должен примириться с их смертью – более того, я должен ее ЖЕЛАТЬ: я почти не знаю других таких пронзительных и сильных ощущений.

Я начинаю согреваться, мне становится хорошо. Тут ничего особенного еще нет, просто крохотное счастье в мире Тошноты: оно угнездилось внутри вязкой лужи, внутри НАШЕГО времени – времени сиреневых подтяжек и продавленных сидений, его составляют широкие, мягкие мгновения, которые расплзаются наподобие масляного пятна. Не успев родиться, оно уже постарело, и мне кажется, я знаю его уже двадцать лет.

Есть другое счастье – где-то вовне есть эта стальная лента, узкое пространство музыки, оно пересекает наше время из конца в конец, отвергая его, прорывая его своими мелкими сухими стежками; есть другое время.

– Мсье Рандю играет червями, ходи тузом.

Голос скользнул и сник. Стальную ленту не берет ничто – ни открывшаяся дверь, ни струя холодного воздуха, обдавшего мои колени, ни приход ветеринара с маленькой дочкой: музыка, насквозь пронзив эти расплывчатые формы, струится дальше. Девочка только успела сесть, и ее сразу захватила музыка: она выпрямилась, широко открыла глаза и слушает, елозя по столу кулаком.

Еще несколько секунд – и запоеет Негритянка. Это кажется неотвратимым – настолько предопределена эта музыка: ничто не может ее прервать, ничто, явившееся из времени, в которое рухнул мир; она прекратится сама, подчиняясь закономерности. За это-то я больше всего и люблю этот прекрасный голос; не за его полнозвучие, не за его печаль, а за то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во имя того, чтобы он родился. И все же я беспокоен: так мало нужно, чтобы пластинка остановилась, – вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф. Как странно, как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и все может ее разрушить.

Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую: что-то произошло – ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ.

Тишина.

Some of these days,
You'll miss me honey!¹⁰

А случилось то, что Тошнота исчезла. Когда в тишине зазвучал голос, тело мое отвердело и Тошнота прошла. В одно мгновение; это было почти мучительно – сделаться вдруг таким твердым, таким сверкающим. А течение музыки ширилось, нарастало, как смерч. Она заполняла зал своей металлической прозрачностью, расплющивая о стены наше жалкое время. Я ВНУТРИ музыки. В зеркалах перекатываются огненные шары, их обвивают кольца дыма, которые кружат, то затуманивая, то обнажая жесткую улыбку огней. Моя кружка пива вся подбралась, она утвердилась на столе: она приобрела плотность, стала необходимой. Мне хочется взять ее, ощутить ее вес, я протягиваю руку... Боже мой! Вот в чем главная перемена – в моих движениях. Взмах моей руки развернулся величавой темой, заструился сопровождением голоса Негритянки; мне показалось, что я танцую.

¹⁰ Придет день, и ты затоскуешь обо мне, милая (англ.).

Лицо Адольфа все там же, оно кажется совсем близким на шоколадной стене. В ту минуту, когда рука моя сомкнулась вокруг кружки, я увидел голову Адольфа – в ней была очевидность, неизбежность финала. Я стискиваю стеклянную кружку, я смотрю на Адольфа – я счастлив.

– А я пойду так!

Чей— то голос выделился на фоне общего гула. Это голос моего соседа, разваренного старика. Щеки его фиолетовым пятном выступают на коричневой коже стула. Он шлепает по столу картой. Бубновый туз.

Но парень с песьей головой улыбается. Краснорожий игрок, склонившись над столом, следит за ним снизу, готовый к прыжку.

– А я – вот так!

Рука парня выступает из темноты, белая, неторопливая, она мгновение парит в воздухе и вдруг коршуном устремляется вниз, прижимая карту к сукну. Краснорожий толстяк подпрыгивает:

– Черт побери! Бьет!

В скрюченных пальцах мелькает силуэт червонного короля, потом короля перевертывают лицом вниз, игра продолжается. Красавец король явился издалека, его приход подготовлен множеством комбинаций, множеством исчезнувших жестов. Но вот и он в свою очередь исчезает, чтобы дать жизнь новым комбинациям, новым жестам, ходам и ответам на них, поворотам судьбы, крохотным приключениям без счета.

Я взволнован, мое тело словно механизм высокой точности на отдыхе. Ведь я-то пережил настоящие приключения. Подробностей я уже не помню, но я прослеживаю неукоснительную связь событий. Я переплывал моря, я оставил позади множество городов, поднимался по течению рек и углублялся в лесные чащи и при этом все время стремился к другим городам. У меня были женщины, я дрался с мужчинами, но я никогда не мог возвратиться вспять, как не может крутиться в обратную сторону пластинка. И куда все это меня вело? Вот к этой минуте, к этому стулу, в этот гудящий музыкой пузырь света.

And when you leave me¹¹.

Я, который в Риме так любил посидеть на берегу Тибра, в Барселоне вечером сотни раз пройтись взад и вперед по бульвару Рамблас, я, который возле Ангкора в Бассейне Священного Меча видел баньян, обвивший своими корнями храм Священных Змей, я сижу здесь, я существую в том же мгновении, что и игроки в манию, я слушаю, как поет Негритянка, а за окном бродит хилая темнота.

Пластинка остановилась.

И темнота вошла – слащавая, нерешительная. Ее не видно, но она здесь, она отуманила лампы; в воздухе что-то сгустилось – это она. Холодно. Один из игроков пододвинул другому рассыпанные карты, тот их собирает. Одна карта осталась валяться на столе. Не видят они ее, что ли? Девятка червей.

Наконец кто-то ее подобрал, протянул парню с песьей головой.

– А! Девятка червей!

Ну что ж, мне пора. Лиловый старик, мусоля кончик карандаша, склонился над листком бумаги. Мадлена смотрит на него ясным, пустым взглядом. Парень вертит в своих руках червонную девятку. Боже мой!..

Я с трудом встаю; в зеркале над черепом ветеринара передо мной проплывает нечеловечье лицо.

¹¹ И когда ты покинешь меня (англ.).

Пойду в кино.

* * *

На улице мне лучше – в воздухе нет сладковатого привкуса, нет хмельного запаха вермута. Но, господи, какая стужа!

Половина восьмого, есть я не хочу, а сеанс начнется только в девять, что же мне делать? Надо идти побыстрее, чтобы согреться. Я в нерешительности: бульвар за моей спиной ведет к центру города, к пышным огненным узорам главных улиц, к «Пале Парамант», к «Империалу», к зданию громадного универмага «Яан». Меня все это отнюдь не прельщает: сейчас время аперитива, а я по горло сыт одушевленными предметами, собаками, людьми, всеми этими самопроизвольно шевелящимися мягкими массажи.

Сворачиваю налево, сейчас я нырну в ту дальнюю дыру, где кончается вереница газовых фонарей, – пойду по бульвару Нуара до проспекта Гальвани. Из дыры задувает ледяной ветер – там одни только камни и земля. Камни – штука твердая, они неподвижны.

Сначала надо миновать нудный отрезок пути: на правом тротуаре серая, дымчатая масса с прочерками огней – это старый вокзал. Его присутствие оплодотворило первые сто метров бульвара Нуара, от бульвара Ла Редут до Райской улицы, дав жизнь десятку фонарей и четырем стоящим бок о бок кафе: «Приюту путейцев» и трем другим, которые днем чахнут, но по вечерам вспыхивают огнями, отбрасывая на мостовую светлые прямоугольники. Я еще трижды окунаюсь в струи желтого света, я вижу, как из магазина «Рабаш», торгующего бакалеей и галантерейными товарами, выходит старуха, натягивает на голову платок, куда-то бежит бегом, и – конец. Я стою у последнего фонаря на Райской улице, на краю тротуара. Здесь асфальтовая лента круто обрывается. По ту сторону улицы – тьма и грязь. Перехожу Райскую улицу. Правой ногой я ступил в лужу, носок у меня промок.

Прогулка началась.

Эта часть бульвара Нуара НЕОБИТАЕМА. Климат здесь слишком суровый, а почва слишком неблагоприятная, чтобы жизнь могла пустить здесь корни и развиваться дальше. Три лесопилки братьев Солей (это братья Солей были поставщиками панелей для сводов церкви Святой Цецилии Морской, обошедшихся в сто тысяч франков) всеми своими окнами и дверями выходят на запад, на уютную улицу Жанны-Берты Керуа, которую заполняют своим грохотом. Бульвару Виктора Нуара они показывают три своих зада, соединенных заборами. Здания лесопилки тянутся вдоль левого тротуара на четыреста метров – ни единого окошка, хотя бы слухового.

На сей раз я ступил в сточную канаву обеими ногами. Перехожу дорогу – на другой стороне улицы одинокий газовый фонарь, словно маяк на краю света, освещает щербатый, искаженный забор.

На досках еще держатся обрывки афиш. Красивое лицо на фоне звездообразно изорванного зеленого клочка искажено гримасой ненависти, под носом кто-то пририсовал закрученные вверх усы. На другом обрывке можно разобрать намалеванное белыми буквами слово «чистюля», из которого сочатся красные капли – может быть, кровь. Не исключено, что это лицо и это слово составляли части одной афиши. Теперь афиша изодрана в клочья, простые соединявшие их по изначальному замыслу связи распались, но между искривленным ртом, каплями крови, белыми буквами, окончанием «юля» само собой возникло новое единство; словно какая-то неутомимая, преступная страсть пытается выразить себя с помощью этих таинственных знаков. В просветах между досками поблескивают огоньки железной дороги. Рядом с забором тянется длинная стена. Стена без отверстий, без дверей и окон, которая через двести метров упирается в дом. Я миновал сферу влияния фонаря, я вступаю в черный провал. Моя тень тает у меня под ногами в потемках, и мне чудится, будто я погружаюсь в ледяную воду.

Впереди, в глубине провала, сквозь толщи черноты смутно проглядывает розоватое пятно – это проспект Гальвани. Оборачиваюсь; позади газового фонаря, далеко-далеко крохотная частица освещенного пространства – вокзал и четыре кафе. Позади меня, впереди меня люди в пивных пьют и играют в карты. Здесь все черно. По временам откуда-то издалека ветер доносит до меня одинокий прерывистый звон. Домашние звуки, храп машин, крики, лай не отрываются от освещенных улиц, они остаются в тепле. Но этот звон пронзает потемки и долетает сюда – он тверже, в нем меньше человеческого, чем в других звуках.

Я остановился, чтобы его послушать. Мне холодно, болят уши, наверно они побагровели. Но я себя больше не ощущаю, я поглощен чистотой того, что меня окружает; ничего живого, свистит ветер, четкие линии убегают во мрак. Бульвар Нуара лишен непристойного выражения буржуазных улиц, которые жеманничают с прохожими. Никому не пришло в голову его украшать – самая настоящая изнанка. Изнанка улиц Жанны-Берты Керуа, проспекта Гальвани. В районе вокзала буйвильцы еще кое-как приглядывают за бульваром – время от времени наводят чистоту ради приезжих. Но чуть поодаль они бросают его на произвол судьбы, и он слепо рвется вперед, упираясь с разбега в проспект Гальвани. Город забыл о бульваре. Иногда на громадной скорости по нему с грохотом пронесется вдруг грузовик землистого цвета. Но здесь даже никого не убивают – за отсутствием и убийц и жертв. Бульвар Нуара неодушевлен. Как минерал. Как треугольник. Какое счастье, что в Бувиле есть такой бульвар. Обычно такие встречаются только в столицах – в Берлине в районе Нойкельна или Фридрихсхайна, в Лондоне позади Гринвича. Это длинные, грязные, продуваемые ветром коридоры, с широкими без единого дерева тротуарами. Почти всегда они расположены на окраинах, в тех странных районах, в которых зачинается город, – вблизи товарных станций, трамвайных депо, боен, газгольдеров. Два дня спустя после дождя, когда промокший город струится теплой испариной под лучами солнца, эти улицы все еще остаются холодными, сохраняя всю свою грязь и лужи. Есть на них и такие лужи, которые не просыхают никогда или, может быть, раз в году – в августе.

Тошнота осталась там, в желтом свете. Я счастлив: этот холод так чист, так чиста эта ночь, разве и сам я – не волна ледяного воздуха? Не иметь ни крови, ни лимфы, ни плоти. И течь по этому длинному каналу к бледному пятну вдали. Быть – просто холодом.

Но вот люди. Две тени. Что им здесь понадобилось?

Низенькая женщина тянет за рукав мужчину. И говорит дробной скороговоркой. Из-за ветра я не могу разобрать слов.

– Да заткнешься ты, наконец? – бросает мужчина.

Она продолжает говорить. И вдруг он ее отталкивает. Они в нерешительности смотрят друг на друга, потом мужчина сует руки в карманы и, не оглядываясь, уходит прочь.

Мужчина исчез. Теперь меня отделяют от женщины каких-нибудь три метра. И вдруг из нее рвутся, раздирая ее, хриплые, низкие звуки, с неслышанной мощью заполняющие улицу.

– Шарль, ну пожалуйста, ты слышишь, что я говорю? Шарль, вернись, я больше не могу, я так несчастна!

Я прохожу настолько близко от нее, что могу до нее дотронуться. Это... но как поверить, что эта распаленная плоть, это пылающее горем лицо?... и, однако, я узнаю платок, пальто и большую бордовую родинку на правой руке. Это она, это Люси, наша уборщица. Я не смею предложить ей свою помощь, но хочу, чтобы в случае надобности она могла к ней прибегнуть, и я медленно прохожу мимо, глядя на нее. Люси уставилась на меня, но похоже, она меня не видит; она вообще себя не помнит от горя. Я делаю несколько шагов. Оглядываюсь...

Да, это она, это Люси. Но Люси вне себя, преображенная, отдающаяся страданию с нерасчетливой щедростью. Я завидую ей. Вот она стоит, выпрямившись и раскинув руки, точно ждет, когда на них появятся стигматы; она открыла рот, она задыхается. Мне чудится, что стены по обе стороны улицы начинают расти, что они сближаются, что Люси на дне колодца. Несколько секунд я жду, я боюсь, как бы она не рухнула навзничь, она слишком тщедушна,

чтобы вынести бремя такой необычной муки. Но она не шевелится, она стала каменной, как все, что ее окружает. На мгновение мне приходит в голову, что раньше я в ней ошибался и мне вдруг открылась ее подлинная натура...

Люси коротко стонет. Подносит руку к груди, широко открыв удивленные глаза. Нет, не в самой себе почерпнула женщина силу страдания. Она пришла к ней извне... с этого бульвара. Надо взять Люси за плечи и увести на свет, к людям, на уютные розовые улицы: там нельзя страдать с такой силой, и она обмякнет, к ней вернутся ее рассудительный вид и привычный уровень страданий.

Я поворачиваюсь к Люси спиной. В конце концов, ей повезло. А я – вот уже три года как я слишком спокоен. В этой трагической глуши я могу почерпнуть только немного бесплодной чистоты. И я ухожу.

Четверг, половина двенадцатого

Два часа я проработал в читальном зале. А потом спустился выкурить трубку во двор Ипотечного Банка. Маленькая площадь выложена розовой брусчаткой. Бульварцы ею гордятся – она построена в XVIII веке. Со стороны улиц Шамад и Сюспедар въезд машинам преграждают старые цепи. Дамы в черном, прогуливающие своих собачек, крадутся под аркадами, жмутся поближе к стенам. Выйти на дневной свет они отваживаются редко, но по-девичьи, тайком и убогостворенно косятся на статую Гюстава Эмпетраза. Вряд ли им известно имя этого бронзового гиганта, но по его сюртуку и цилиндру они видят: этот человек из хорошего общества. Цилиндр он держит в левой руке, а правую положил на стопку книг in-folio – ну прямо-таки их собственный дед стоит на пьедестале, отлитый в бронзе. Им нет надобности долго его разглядывать, чтобы понять – он смотрел на все как они, в точности как они. На службу их куцым и незыблемым взглядам он поставил весь свой авторитет и громадную эрудицию, почерпнутую в фолиантах, которые плющит его тяжелая рука. Дамам в черном легче дышать, они могут со спокойной душой заниматься хозяйством и прогуливать своих собачек – бремя ответственности упало с их плеч, им не надо защищать священные взгляды, добропорядочные взгляды, унаследованные ими от отцов: бронзовый исполин взялся охранять их.

«Большая Энциклопедия» посвятила этой фигуре несколько строк, я прочел их в прошлом году. Положив том энциклопедии на подоконник, я через стекло глядел на зеленый череп Эмпетраза. Я узнал, что расцвет его деятельности пришелся на 1890 год. Он был инспектором академии. Малевал очаровательные картинки, выпустил три книги: «О популярности у древних греков» (1887), «Педагогика Роллена» (1891) и «Поэтическое завещание» в 1899 году. Умер в 1902 году, оплаканный своими подчиненными и людьми с хорошим вкусом.

Я прислонился к фасаду библиотеки. Я затягиваюсь трубкой, которая вот-вот погаснет. И вижу старую даму, которая боязливо выходит из-под аркад галереи и упорным, пронизательным взглядом рассматривает Эмпетраза. Вдруг, осмелев, со всей скоростью, доступной ее лапкам, она семенит через двор и на мгновение застывает перед статуей, двигая челюстями. Потом улепетывает – черное пятно на розовой мостовой – и исчезает, юркнув в щель в стене.

Быть может, в начале прошлого столетия эта площадь, выложенная розовой брусчаткой и окруженная домами, создавала радостное впечатление. Сейчас есть в ней что-то сухое, неприятное, даже жутковатое. Виноват в этом дяденька на пьедестале. Отлив этого ученого мужа в бронзе, его превратили в колдуна.

Я смотрю Эмпетразу в лицо. Глаз у него нет, нос едва намечен, борода изъедена странными язвами, которые иногда как зараза поражают все статуи в каком-нибудь районе. Он застыл в приветствии; на его жилете, в том месте, где сердце, – большое светло-зеленое пятно. Вид у него хилый и болезненный. Это не живой человек, однако неодушевленным его тоже не назовешь. От него исходит какая-то смутная сила, словно меня в грудь толкает ветер, – это Эмпетраз хотел бы изгнать меня с площади Ипотечного Банка. Но я не уйду, пока не докурю трубку.

Вдруг за моей спиной возникает длинная тощая тень. Я вздрагиваю.

– Извините, мсье. Я не хотел вам мешать. Я видел, что губы у вас шевелятся. Вы, наверно, повторяете фразы из вашей книги. – Он засмеялся. – Хотите изгнать александрийские стихи.

Я тупо уставился на Самоучку. Но он удивлен, что удивлен я.

– Разве в прозе не следует старательно избегать александрийских стихов?

Я несколько упал в его мнению. Я спрашиваю, что он делает здесь в этот час. Начальник дал ему отгул, объясняет Самоучка, и он отправился напрямиком в библиотеку; обедать он не пойдет и до закрытия будет читать. Я перестал слушать, но, должно быть, он отклонился от первоначального сюжета, так как вдруг до меня доносится:

– ...иметь счастье, как вы, писать книгу.

Надо ему что-то ответить.

– Счастье... – говорю я с сомнением.

Превратно истолковав мой ответ, он спешит исправить оплошность.

– Мне следовало сказать: иметь талант, мсье.

Мы поднимаемся по лестнице. Работать мне неохота. Кто-то забыл на столе «Евгению Гранде», книга открыта на двадцать седьмой странице. Я машинально беру ее, читаю страницу двадцать седьмую, потом двадцать восьмую, начать сначала мне не хватает решимости. Самоучка бодрым шагом направился к книжным полкам: он приносит оттуда два тома и кладет их на стол с видом пса, нашедшего кость.

– Что вы читаете?

По— моему, ему тягостно отвечать на этот вопрос: с минуту он колеблется, растерянно вращает глазами, потом нехотя протягивает мне книги. Это «Торф и торфоразработки» Ларбалетрие и «Хитопадеша, или Полезные наставления» Латекса. Ну и что? Не понимаю, почему он смущен. Вполне благопристойная литература. Для очистки совести перелистываю «Хитопадешу» – сплошь высокая материя.

3 часа

Я отложил «Евгению Гранде». И принялся за работу, хоть и без энтузиазма. Самоучка, видя, что я пишу, смотрит на меня с почтительным вожделием. Иногда я приподнимаю голову и вижу широченный стоячий воротничок, из которого торчит его цыплячья шея. Одежда на Самоучке потертая, но белье ослепительной белизны. Он только что снял с той же полки еще один том, я прочел перевернутое вверх ногами название «Стрела Кодебека», нормандская хроника. Автор – мадемуазель Жюли Латернь. Подбор читаемой им литературы неизменно ставит меня в тупик.

И вдруг мне на память приходят фамилии авторов тех книг, которые он брал в последнее время: Ламбер, Ланглуа, Ларбалетрие, Латекс, Латернь. Меня вдруг осенило – я разгадал метод Самоучки: он осваивает знания в алфавитном порядке.

Я смотрю на него не без восхищения. Какой же волей надо обладать, чтобы медленно, упорно осуществлять такой обширный замысел. Однажды, семь лет тому назад (он сказал мне, что занимается самообразованием семь лет), он торжественно вступил в этот зал. Обвел взглядом бесчисленные тома, которыми заставлены стены, и, должно быть, сказал себе почти как Растиньяк: «А ну, познания человеческие, поглядим, кто кого!» Потом подошел, взял первую книгу на первой полке справа и открыл первую страницу со смешанным чувством благоговения, ужаса и неколебимой решимости. Сегодня он добрался до «Л». «К» после «И». «Л» после «К». От трактата о жесткокрылых, к католическому памфлету против дарвинизма, но это его нимало не смущает. Он прочел все. На складе в его голове хранится половина того, что науке известно о партеногенезе, половина всех аргументов, выдвинутых против вивисекции. Позади

у него, впереди у него целый мир. И близится день, когда, закрыв последний том, взятый с последней полки слева, он скажет: «Что же теперь?»

В этот час он полдничает, с простодушным видом он жуёт хлеб и плитку шоколада «Гала Петер». Веки его опущены, и я без помех могу любоваться его красивыми, загнутыми, как у женщины, ресницами. От него пахнет застарелым табаком, к которому, когда он дышит, примешивается сладковатый запах шоколада.

Пятница, 3 часа

Кое— что прибавилось. В ловушку зеркала я уже попадался. Зеркала я избегаю, но зато я попал в другую ловушку – ловушку окна. Праздный, вяло уронив руки, подхожу к нему. Стройплощадка, Забор, Старый вокзал – Старый вокзал. Забор, Стройплощадка. Зеваю так широко, что на глазах выступают слезы. В правой руке у меня трубка, в левой – кисет. Надо набить трубку. Но сил у меня нет. Руки висят как плети, прижимаюсь лбом к оконному стеклу. Меня раздражает эта старуха. Взгляд растерянный, но упорно семенит вперед. Иногда пугливо останавливается, словно почуяв невидимую опасность. Вот она уже под моим окном, ветер облепил ей колени юбкой. Остановилась, поправляет платок. Руки у нее дрожат. Двинулась дальше – теперь я вижу ее со спины. Старая перочница! Наверно, сейчас свернет направо на бульвар Нуара. Ей осталось пройти метров сто – с ее скоростью это займет еще минут десять. Целых десять минут мне придется глядеть на нее, прижавшись лбом к стеклу. И еще раз двадцать она остановится, засеменит дальше, остановится снова...

Я ВИЖУ будущее. Оно здесь, на этой улице, разве чуть более блеклое, чем настоящее. Какой ему прок воплощаться в жизнь? Что это ему даст? Старуха, ковьяля, уходит дальше, останавливается, заправляет седую прядь, выбившуюся из-под косынки. Она идет, она была там, теперь она здесь... Не пойму, что со мной – вижу я ее жесты или предвижу? Я уже не отличаю настоящего от будущего, и, однако, что-то длится, что-то постепенно воплощается, старуха плетется по пустынной улице, переставляя грубые мужские ботинки. Вот оно время в его наготе, оно осуществляется медленно, его приходится ждать, а когда оно наступает, становится тошно, потому что замечаешь, что оно давно уже здесь. Старуха дошла до угла, теперь она превратилась в узелок черного тряпья. Что ж, пожалуй, это что-то новое, только что она была не такой, когда находилась в той стороне. Но новизна эта тусклая, заезженная, не способная удивить. Сейчас старуха свернет за угол, старуха сворачивает – проходит вечность.

Я отрываюсь от окна, бреду, шатаюсь, по комнате; влипаю в зеркало, смотрю на себя с омерзением – еще одна вечность. Наконец, избавился от своего изображения, валюсь на постель. Гляжу в потолок – хорошо бы заснуть.

Спокойно. Спокойно. Вот я уже не чувствую, как скользит, задевая меня, время. На потолке я вижу картинки. Сначала круги света, потом кресты. Все это порхает. А вот и новая картинка – на сей раз в глубине моих закрытых глаз. Это громадное коленоприклоненное животное. Я вижу его передние лапы и вьючное седло. Остальное скрыто туманом. И все же я его узнаю – это привязанный к камню верблюд, которого я видел в Марракеше. Он шесть раз подряд становился на колени и снова вставал, а мальчишки смеялись и криками подзадоривали его.

Два года назад это было удивительно – стоило мне закрыть глаза, и голова начинала гудеть, как улей, передо мной вставали виденные когда-то лица, деревья, дома, японка из Камаиси, которая нагишом мылась в бочке, убитый русский с огромной зияющей раной, а рядом – лужа его крови. Я ощущал во рту вкус мускуса, в ноздрях запах масла, разливающийся в полдень по улицам Бургоса, запах укропа, плывущий по улицам Тетуана, слышал пересвист греческих пастухов; все это волновало меня. Но эта радость давно уже истерлась. Неужели сегодня она возродится вновь?

Знойное солнце в моей голове деревянно плывет, как изображение в волшебном фонаре. За ним следует клочок синего неба. Дернувшись несколько раз, оно застыло, я весь позолочен им изнутри. От какого марокканского (а может, алжирского? Или сирийского?) дня оно вдруг оторвалось? Я отдаюсь потоку, уносящему меня в прошлое.

Мекнес. Как он выглядел, этот горец, напугавший нас в узенькой улочке между Берденской мечетью и прелестной площадью в тени шелковицы? Он двинулся прямо на нас, Анни шла справа от меня. Или слева?

Это солнце и синее небо – всего лишь обман. Вот уже сотый раз я на него попадаюсь. Мои воспоминания – словно золотые в кошельке, подаренном дьяволом: откроешь его, а там сухие листья.

Горца я больше не вижу – вижу только огромное молочного цвета пятно на месте вытекшего глаза. Впрочем, его ли это глаз? Врач, который в Баку излагал мне принципы устройства государственных абортариев, тоже был кривым, и когда я пытаюсь вспомнить его лицо, передо мной возникает такой же беловатый шар. У этих двоих, как у Норн, один общий глаз, и они то и дело им обмениваются.

С этой площадью в Мекнесе, хотя я ходил по ней каждый день, еще проще – я вообще ее больше не вижу. У меня осталось от нее смутное чувство, что она была прелестна, да еще эти четыре слова, которые слились в одно: прелестная площадь в Мекнесе. Конечно, если я закрою глаза или мутным взглядом уставлюсь в потолок, я могу восстановить ту сцену: вдали дерево, и на меня бежит какая-то темная, коренастая тень. Впрочем, все это я выдумал по ходу дела. Марокканец был высокий, сухощавый, да и увидел-то я его, только когда он меня коснулся. Стало быть, я все еще ЗНАЮ, что он высокий и сухощавый – кое-какие краткие сведения в моей памяти сохранились. Но я ничего больше не вижу: сколько я ни роюсь в прошлом, я извлекаю из него только обрывочные картинки, и я не знаю толком, что они означают, воспоминания это или вымыслы.

А во многих случаях исчезли и сами эти обрывки – остались только слова; я еще способен рассказывать и даже слишком хорошо рассказывать разные истории (по части анекдотов со мной не может тягаться никто, кроме морских офицеров и профессиональных рассказчиков), но теперь от моих историй остался один остов. В них идет речь о ком-то, кто проделывает то-то и то-то. Но это не я, у меня с ним нет ничего общего. Он скитается по разным странам, о которых я имею представления не больше, чем если бы никогда в них не бывал. Иногда в своих рассказах мне случается упомянуть красивые названия, которые можно вычитать в Атласе, – Аранхуэс или Кентербери. Они рождают во мне совершенно новые образы, как бывает с тем, кто никогда не путешествовал; мою фантазию будят слова – вот и все.

Однако на сотню мертвых историй сохранились одна-две живые. Эти я вызываю в памяти с осторожностью, не часто, чтобы они не износились. Выужу одну, передо мной воскреснет обстановка, действующие люди, их позы. И вдруг стоп: я почувствовал потертость – сквозь основу чувств уже проглядывает слово. Я угадываю: это слово вскоре займет место многих дорогих мне образов. Я сразу останавливаюсь, начинаю думать о другом – не хочу перетруждать свои воспоминания. Но тщетно – в следующий раз, когда я захочу их оживить, многие из них уже омертвеют.

Я делаю вялую попытку встать, чтобы найти фотографии Мекнеса в коробке, которую я задвинул под стол. Но к чему? Эти возбуждающие средства больше не оказывают действия на мою память. Как-то я нашел под бюваром маленькую выцветшую фотографию. Улыбающаяся женщина у фонтана. Я долго смотрел на нее, не узнавая. Потом на обороте прочел: «*Анни. Портсмут, 7 апреля 27 года.*»

Никогда еще я не испытывал с такой силой, как сегодня, ощущения, что я лишен потайных глубин, ограничен пределами моего тела, легковесными мыслями, которые пузырьками поднимаются с его поверхности. Я леплю воспоминания из своего настоящего. Я отброшен в

настоящее, покинут в нем. Тщетно я пытаюсь угнаться за своим прошлым, мне не вырваться из самого себя.

Стучат. Это Самоучка: я совсем забыл о нем. Я обещал показать ему фотографии, привезенные из моих путешествий. Черт бы его побрал.

Он садится на стул. Напряженные ягодицы уперлись в спинку, негнувшийся корпус подался вперед. Вспрыгнув на кровать в изножье, я зажигаю свет.

– Зачем же, мсье? И так было очень хорошо.

– Слишком темно, чтобы рассматривать фотографии...

Он не знает, куда девать свою шляпу, – я беру ее у него из рук.

– Вправду, мсье? Вы мне их покажете?

– Конечно.

Я действую с расчетом – я надеюсь, что, пока он их рассматривает, он будет молчать. Нырряю под стол, вытаскиваю коробку к его лакированным ботинкам и кладу ему на колени охапку почтовых открыток и снимков – Испания и Испанское Марокко.

Но по его открытому, смеющемуся лицу вижу, что горько ошибся, надеясь заткнуть ему рот. Он бросает взгляд на вид Сан-Себастьяна, снятый с горы Игуэльдо, осторожно откладывает его на стол и несколько мгновений молчит. Потом вздыхает:

– Ах, мсье, вам повезло. Если верить тому, что говорят люди, путешествия – лучшая школа. Вы согласны, мсье?

Я делаю неопределенный жест. К счастью, он еще не договорил.

– Наверно, это переворачивает всю душу. Если бы мне довелось однажды куда-нибудь поехать, мне кажется, перед отъездом я описал бы на бумаге все мельчайшие черточки своего характера, чтобы, вернувшись, сравнить – каким я был и каким стал. Я читал, что некоторые путешественники и внешне и внутренне изменялись настолько, что по возвращении самые близкие родственники не могли их узнать.

Он рассеянно вертит в руках толстую пачку фотографий. Берет одну и, не глядя, откладывает на стол; потом напряженно всматривается в следующий снимок, на котором изображена статуя святого Иеронима с кафедры собора в Бургосе.

– А вы видели в Бургосе Христа в звериной шкуре! Есть очень любопытная книга, мсье, об этих статуях в звериных шкурах и даже в человеческой коже. А черную Мадонну? Но она, кажется, не в Бургосе, а в Сарагосе? А может, такая есть и в Бургосе? И паломники целуют, правда ведь – я говорю о сарагосской? И на плите, кажется, сохранился след ее ноги? А плита в каком-то провале? И матери толкают туда своих детей?

Не разгибаясь, он двумя руками толкает воображаемого ребенка. Ни дать ни взять – отвергает дары Артаксеркса.

– Ах, мсье, обычаи – это... это такая занятная штука.

Задыхнувшись, он выдвинул в мою, сторону свою огромную ослиную челюсть. От него несет табаком и стоячей водой. Его прекрасные блуждающие глаза блестят, как огненные шары, а редкие волосы обвели череп запотевшим венчиком. В его черепной коробке самоеды, люди племени ньям-ньям, мальгаша и жители Огненной Земли справляют самые диковинные обряды, поедают своих престарелых отцов и детей, до потери сознания кружат на месте под звуки тамтама, предаются исступлению амока, сжигают своих мертвецов, выставляют их на крышах, пускают по течению в лодках с горящим факелом, совокупаются с кем попало – мать с сыном, отец с дочерью, сестра с братом, увечат, оскопляют себя, растягивают губы с помощью плоских, облепляют чресла фигурами чудовищных животных.

– Как по-вашему, можно вслед за Паскалем повторить, что обычаи – это вторая натура?

Он впился своими черными глазами в мои, он вымаливает ответ.

– Как когда, – отвечаю я.

Он переводит дух.

– Вот и я так думаю, мсье. Но я себе не доверяю – для этого надо прочитать все.

Однако следующая фотография приводит его в экстаз.

– Сеговия! Сеговия! – радостно вопит он. – Я читал книгу о Сеговии. – И не без достоинства добавляет: – Забыл фамилию автора, мсье. У меня бывают такие провалы. На... Не...
Нод...

– Этого не может быть, – живо возражаю я. – Вы дошли только до Латернь...

Я тут же пожалел о своих словах: ведь он никогда не рассказывал мне, по какому методу он читает книги, это, наверно, тайная мания. И в самом деле, он смутился, плаксиво выпятил толстые губы. Потом наклонил голову и с десятков открыток перебрал в полном молчании.

Но через полминуты я вижу, что его распирает неудержимый восторг – он лопнет, если не выскажется.

– Когда я закончу свое образование (я кладу на это еще шесть лет), если мне разрешат, я присоединюсь к студентам и преподавателям университета, которые ежегодно совершают поездку на Дальний Восток. Мне надо бы уточнить кое-какие сведения, – произносит он еле слышно, – и еще мне хотелось бы пережить что-то неожиданное, новое, словом, прямо говоря, какие-нибудь приключения.

Он понизил голос с плутовским видом.

– Приключения какого рода? – удивился я.

– Да какие угодно, мсье. Например, ты случайно сел не в тот поезд. Сошел в незнакомом городе. Потерял бумажник, по ошибке тебя арестовали, и ночь ты провел в тюрьме. По-моему, понятие «приключение» можно определить так: событие, которое выходит за рамки привычного, хотя не обязательно должно быть необычным. Говорят о магии приключений. Как вы считаете, это выражение справедливо? Я хотел бы задать вам один вопрос, мсье.

– Какой?

Он покраснел и улыбнулся.

– Может, это нескромно.

– Ну а все-таки?

Он наклоняется ко мне и спрашивает, полузакрыв глаза:

– У вас было много приключений, мсье?

– Кое-какие были, – машинально отвечаю я, резко отстранившись, чтобы уклониться от его гнилостного дыхания. Я ответил ему машинально, не подумав. В самом деле, обычно я, пожалуй, даже горжусь тем, что пережил так много приключений. Но сегодня, не успев произнести эти слова, я разозлился на самого себя: мне кажется, я солгал, не было у меня в жизни ни единого приключения, или, вернее, я просто не знаю, что это слово означает. И в то же время на меня наваливается та самая тоска, которая охватила меня четыре года назад в Ханое, когда Мерсье уговаривал меня поехать с ним, а я молча уставился на кхмерскую статуэтку. И рядом снова оказалась МЫСЛЬ, та самая огромная белая масса, от которой мне сделалось тогда так мерзко – четыре года она мне не являлась.

– Могу ли я вас просить... – начинает Самоучка.

Черт побери! Конечно, чтобы я рассказал ему одно из этих пресловутых приключений. Но я больше ни слова не вымолвлю на эту тему.

– А вот это, – говорю я, перегнувшись через его узкие плечи и тыча пальцем в один из снимков, – это Сантильяна, самая хорошенькая деревушка в Испании.

– Сантильяна Жиль Блаза? А я и не знал, что она в самом деле существует. Ах, мсье, в разговоре с вами узнаешь столько полезного! Сразу видно, что вы поездили по свету.

Я выставил Самоучку за дверь, набив его карманы почтовыми открытками, гравюрами и фотографиями. Он ушел в полном восторге, а я гашу свет. Теперь я один. Не совсем один. Есть еще эта мысль, она рядом, она ждет. Она свернулась клубком, как громадная кошка; она

ничего не объясняет, не шевелится, она только говорит: «нет». Нет, не было у меня никаких приключений.

Я набиваю трубку, раскуриваю ее и вытягиваюсь на кровати, набросив на ноги пальто. Не пойму, почему мне так грустно и я так устал. Даже если и вправду у меня никогда не было приключений, что из того? Во-первых, по-моему, все дело просто в словах. Взять хотя бы случай в Мекнесе, который мне недавно вспомнился. На меня напал марокканец с громадным ножом. Но я двинул его кулаком и угодил в висок... Он стал кричать по-арабски, появилась толпа каких-то оборванцев, которые гнались за нами до самого рынка в Аттаре. Ну так вот, обозначить это можно любым словом, но все же это происшествие, КОТОРОЕ СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ.

Совсем стемнело, не уверен, горит ли моя трубка. Проходит трамвай: красная вспышка на потолке. Проносится тяжелая машина – от ее грохота содрогается дом. Должно быть, сейчас шесть.

У меня не было приключений. В моей жизни случались истории, происшествия, события – что угодно. Но не приключения. И дело тут не в словах, я начинаю это понимать. Было нечто, чем я, не сознавая этого, дорожил больше всего на свете. Это была не любовь, боже мой, нет, и не слава, не богатство. Это было... В общем, я воображал, что в известные минуты моя жизнь приобретала редкий и драгоценный смысл. И для этого не было нужды в каких-то особых обстоятельствах, нужна была просто некоторая четкость. Нынешняя моя жизнь не слишком блистательна, но время от времени, например, когда в кафе играла музыка, я возвращался вспять и говорил себе: в былые дни, в Лондоне, в Мекнесе, в Токио я пережил восхитительные минуты, у меня были приключения. И вот теперь это у меня отнимают. Без всякого видимого повода я вдруг понял, что обманывал себя десять лет. Приключения бывают в книгах. Правда, все, о чем говорится в книгах, может случиться и в жизни, но совсем не так. А именно тем, как это случается, я и дорожил.

Во— первых, начало всегда должно было быть настоящим началом. Увы! Теперь я так ясно вижу, чего я хотел. Истинное начало возникает как звук трубы, как первые ноты джазовой мелодии, оно разом прогоняет скуку, уплотняет время. О таких особенных вечерах потом говорят: «Я гулял, был майский вечер». Ты гуляешь, взошла луна, ты ничем не занят, бездельничает, немного опустошен. И вдруг у тебя мелькает мысль: «Что-то случилось». Что угодно – может, в темноте что-то скрипнуло или на улице мелькнул легкий силуэт. Но это крохотное событие не похоже на другие – ты сразу чувствуешь, оно предваряет что-то значительное, чьи очертания еще теряются во мгле, и ты говоришь себе: «Что-то начинается».

Что— то начинается, чтобы прийти к концу: приключение не терпит длительности; его смысл – в его гибели. К этой гибели, которая, быть может, станет и моей, меня влечет неотвратимо. И кажется, что каждое мгновение наступает лишь затем, чтобы потянуть за собой те, что следуют за ним. И каждым мгновением я безгранично дорожу – я знаю: оно неповторимо, незаменимо, – но я не шевельну пальцем, чтобы помешать ему стинуть. Я знаю: вот эта последняя минута – в Берлине ли, в Лондоне ли, – которую я провожу в объятьях этой женщины, встреченной позавчера, минута, страстно мной любимая, женщина, которую я готов полюбить, – уже истекает. Я уеду в другие страны. Я никогда больше не увижу эту женщину, никогда не повторится эта ночь. Я склоняюсь над каждой секундой, стараюсь исчерпать ее до дна, все, что она содержит – и мимолетную нежность прекрасных глаз, и уличный шум, и обманчивый свет зари, – я стараюсь вобрать в себя, навеки запечатлеть в себе, и, однако, минута истекает, я не удерживаю ее, мне нравится, что она уходит.

А потом вдруг что-то разбивается вдребезги. Приключение окончено, время вновь обретает свою будничную вязкость. Я оглядываюсь: позади меня прекрасная мелодическая форма сейчас канет в прошлое. Она уменьшается, идя на ущерб, она съеживается, и вот конец уже сливается в одно с началом. И, провожая взглядом эту золотую точку, я думаю, что, даже если

мне пришлось едва не поплатиться жизнью, разориться, потерять друга, я согласился бы пережить заново все, от начала до конца, в тех же самых обстоятельствах. Но приключение нельзя ни повторить, ни продлить.

Да, вот чего я хотел – увы, хочу и сейчас. Когда поет Негритянка, меня охватывает такое безграничное счастье. Каких вершин я мог бы достичь, если бы тканью мелодии стала моя СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ.

А мысль, неизреченная, все здесь. Она невозмутимо ждет. И мне кажется, что она говорит:

«Вот как? Вот, оказывается, ЧЕГО ты хотел? Ну так этого-то у тебя как раз никогда и не было (вспомни: ты просто морочил себя игрой слов, называл приключениями мишуру странствий, любовь продажных девок, потасовки, побрякушки) и никогда не будет, ни у тебя, ни у кого другого».

Но почему? ПОЧЕМУ?

Суббота, полдень

Самоучка не видел, как я вошел в читальный зал. Он сидел за последним столом в глубине зала с самого края; перед ним лежала книга, но он ее не читал. Он с улыбкой поглядывал на своего соседа справа, неряху гимназиста, который часто приходит в библиотеку. Тот некоторое время терпел взгляд Самоучки, потом вдруг, скорчив жуткую гримасу, показал ему язык. Самоучка покраснел и, поспешно уткнув нос в книгу, углубился в чтение.

А я вернулся к моим вчерашним раздумьям. Они меня совсем извели: не в том дело, что у меня не было приключений, – это мне все равно. Я хочу знать другое – МОГЛИ ЛИ они быть вообще.

Вот ход моих рассуждений: для того, чтобы самое банальное происшествие превратилось в приключение, достаточно его РАССКАЗАТЬ. Это-то и морочит людей; каждый человек – всегда рассказчик историй, он живет в окружении историй, своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней.

Но приходится выбирать: или жить, или рассказывать. Вот, например, в Гамбурге я вел довольно странный образ жизни с некой Эрной, которой я не доверял и которая меня боялась. Но я был внутри этой жизни, я о ней не думал. И вот однажды вечером, в маленьком кафе в Санкт-Паули, ей понадобилось выйти в уборную. А я остался один, патефон играл «Blue sky»¹². И я стал рассказывать себе самому все, что случилось со мной после того, как я приехал в Гамбург. Я говорил себе: «На третий день вечером я вошел в дансинг под названием „Голубой грот“ и заметил высокую полупьяную женщину. Эту женщину я сейчас жду, слушая „Blue sky“. С минуты на минуту она вернется, сядет со мной рядом и повиснет у меня на шее». И тут я вдруг почувствовал, что у меня приключение. Но Эрна вернулась, села рядом со мной, повисла у меня на шее, и сам не знаю почему, я ее тут же возненавидел. А теперь я знаю почему – надо было снова начинать жить, а чувство приключения исчезло.

Пока живешь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят – вот и все. Никогда никакого начала. Дни прибавляются друг к другу без всякого смысла, бесконечно и однообразно. Время от времени подбиваешь частичный итог, говоришь себе: вот уже три года я путешествую, три года как я в Бувиле. И конца тоже нет – женщину, друга или город не бросают одним махом. И потом все похоже – будь то Шанхай, Москва или Алжир, через полтора десятка лет все они на одно лицо. Иногда – редко – вникаешь вдруг в свое положение: замечаешь, что тебя заарканила баба, что ты влип в грязную историю. Но

¹² «Голубое небо» (англ.).

это короткий миг. А потом все опять идет по-прежнему, и ты снова складываешь часы и дни. Понедельник, вторник, среда. Апрель, май, июнь. 1924, 1925, 1926.

Это называется жить. Но когда ты рассказываешь свою жизнь, все меняется; только никто этой перемены не замечает, и вот доказательство: люди недаром толкуют о правдивых историях. Будто истории вообще могут быть правдивыми; события развертываются в одной последовательности, рассказываем же мы их в обратной. Нам кажется, что мы начинаем с начала. «Случилось это погожим осенним вечером 1922 года. Я работал письмоводителем у нотариуса в Маромме». Но на самом деле начинаешь с конца. Конец здесь, он присутствует здесь невидимкой, это он придает произнесенным словам торжественную значимость начала. «Я вышел погулять и не заметил, как оказался за чертой города, меня одолевали денежные заботы». Фраза эта, взятая сама по себе, просто означает, что персонаж, о котором идет речь, ушел в свои мысли, был мрачен и находился за тридевять земель от каких бы то ни было приключений – то есть был в таком настроении, когда все происходящее проходит мимо тебя. Но конец-то ведь здесь, рядом, он преображает все. Для нас названный персонаж – уже герой истории. Его мрачность, его денежные заботы куда драгоценнее наших – их позолотил свет грядущих страстей. И рассказ развертывается задом наперед: мгновения перестали наудачу громоздиться одно на другое, их подцепил конец истории, он притягивает их к себе, а каждое из них в свою очередь тянет за собой предшествующее мгновение. «Стояла ночь, улица была пустынна». Фраза брошена как бы невзначай, она кажется лишней, но нас не обмануть, мы наматываем ее на ус: важность этих сведений мы скоро оценим. И чувство у нас такое, будто герой пережил все подробности этой ночи как знамение, как провозвестье, и даже кажется, что он жил только в эти знаменательные минуты и был слеп и глух ко всему, что не возвещало приключения. Мы забываем, что будущее там пока еще не присутствовало, и персонаж просто гулял ночью, и ночь была лишена предвестий, она вперемежку предлагала ему свои однообразные сокровища, и он черпал их без разбора.

Я хотел, чтобы мгновения моей жизни следовали друг за другом, выстраиваясь по порядку, как мгновения жизни, которую вспоминаешь. А это все равно что пытаться ухватить время за хвост.

Воскресенье

Утром я забыл, что сегодня воскресенье. Я вышел и, как всегда, зашагал по улицам. С собой я взял «Евгению Гранде». И вдруг, толкнув калитку городского парка, я почувствовал, как что-то подает мне знак. Парк был безлюден и гол. Но... как бы это объяснить? У него был какой-то необычный вид, он мне улыбался. Мгновение я постоял, прислонившись к калитке, и вдруг понял: сегодня воскресенье. Оно ощущалось в деревьях, в лужайках, как едва заметная улыбка. Это невозможно описать, разве что быстро произнести: «Это городской парк, зимой, воскресным утром».

Я отпустил калитку, обернулся к буржуазным домам и улицам и тихонько сказал: «Сегодня воскресенье».

Сегодня воскресенье: за доками, вдоль берега моря, возле товарных станций, вокруг всего города ангары пусты и машины замерли в темноте. В каждом доме у окон бреются мужчины; откинув голову, они то глядятся в зеркало, то смотрят на холодное небо, чтобы определить, какая будет погода. Бордели открывают двери первым посетителям – приедем из деревни и солдатам. В церквах при свете свечей мужчина пьет вино перед коленопреклоненными женщинами. В предместьях, между бесконечными заводскими стенами, начали свое шествие длинные черные цепи – они медленно текут к центру города. Готовясь к встрече с ними, улицы приняли тот облик, какой у них бывает в дни мятежей: все магазины, кроме тех, что расположены на улице Турнебрид, опустили свои железные щиты. Скоро черные колонны

молча заполонят прикинувшиеся мертвыми улицы: сначала явятся железнодорожники Турвиля и их жены, работающие на мыловаренных заводах Сен-Симфорен, потом мелкие буржуа из пригорода – Жукстебувиля, потом рабочие прядильной фабрики Пино, потом мастера из квартала Сен-Максанс; последними, одиннадцатичасовым трамваем, приедут жители Тьераша. И скоро между закрытыми магазинами и дверями на запорах родится воскресная толпа.

Часы бьют половину десятого, и я пускаюсь в путь: в воскресенье в этот час в Бувиле можно увидеть любопытное зрелище, надо только поспеть к тому времени, когда верующие расходятся после праздничной службы.

Улочка Жозефины Сулари пустынна, здесь пахнет погребом. Но, как всегда по воскресеньям, ее заполняет мощный рокот, рокот прибое. Сворачиваю на улицу Президента Шамара – здесь все дома четырехэтажные с длинными белыми ставнями. Эта улица нотариусов по воскресному гулко гудит. В пассаже Жилле гул нарастает, я его узнаю: это гул толпы. И вдруг по левую руку от меня свет и звук словно взрываются. Я у цели – вот улица Турнебрид, мне остается только влиться в толпу себе подобных, и я увижу, как раскланиваются друг с другом, приподнимая шляпы, добропорядочные горожане.

Еще шестьдесят лет тому назад никто не решился бы предсказать удивительную судьбу улицы Турнебрид, которую нынешние бувильцы прозвали Маленькой Прадо. Я видел план города 1847 года – улицы там и в помине нет. В ту пору здесь был, наверно, темный, вонючий проход со сточной канавой посередине, и по ней плыли рыбные головы и внутренности. Но в конце 1873 года Национальное собрание объявило, что общественное благо требует возвести церковь на вершине Монмартрского холма. А несколько месяцев спустя жене бувильского мэра было видение: ее покровительница, Святая Цецилия, осыпала ее упреками. Допустимо ли, чтобы люди избранного общества каждое воскресенье шлепали по грязи в Сен-Ре или Сен-Клодъен, чтобы слушать мессу вместе с лавочниками? Разве Национальное собрание не подало пример? Милостью Божьей Бувиль достиг экономического процветания. Так разве не следует возблагодарить Создателя, построив в Бувиле храм?

К видению отнеслись благосклонно: муниципальный совет собрался на историческое заседание, и епископ согласился возглавить сбор пожертвований. Оставалось выбрать место. Почтенные семьи коммерсантов и судовладельцев считали, что церковь следует возвести на вершине Зеленого Холма, где они жили, чтобы «Святая Цецилия хранила Бувиль, вознесясь над ним, как храм Христа Сакре-Кер над Парижем». Но новоявленные господа с Морского Бульвара, в ту пору еще немногочисленные, но весьма богатые, уперлись: они-де готовы дать сколько нужно, но только в том случае, если церковь воздвигнут на площади Мариньян: коли платить за церковь, так уж чтоб можно было ею пользоваться – они были не прочь показать свою силу спесивой буржуазии, которая видела в них выскочек. Епископ предложил компромисс: церковь была построена на полпути между Зеленым Холмом и Морским Бульваром, на площади Рыбного Рынка, который окрестили площадью Цецилии Морской. На уродливую громаду, законченную в 1887 году, ухлопали не меньше четырнадцати миллионов.

Улицу Турнебрид, широкую, но грязную и пользовавшуюся дурной славой, пришлось полностью реконструировать; ее обитатели были решительно оттеснены на задворки площади Святой Цецилии, а Маленькая Прадо сделалась, в особенности утром по воскресеньям, местом встречи щеголей и именитых горожан. На пути, по которому прогуливалась элита, один за другим стали открываться роскошные магазины. Они не закрываются ни в понедельник на Святой неделе, ни в рождественскую ночь, ни по воскресеньям до полудня. Рядом с колбасником Жюльеном, славящимся своими горячими пирожками, выставил свои фирменные пирожные – очаровательные конусообразные птифуры, украшенные сиреневым кремом и сахарной фиалкой кондитер Фулон. В витрине книготорговца Дюпати можно увидеть новинки издательства «Плон», кое-какие книги по технике – вроде «Теории кораблестроения» или «Трактата о парусах», громадную иллюстрированную историю Бувиля и со вкусом расставленные рос-

кошные издания: «Кенигсмарк» в синем кожаном переплете и «Книгу моих сыновей» Поля Думера в переплете из светло-коричневой кожи с вытесненными на ней пурпурными цветами. «Ателье мод, парижские модели» Гислена отделяет цветочный магазин Пьежуа от антикварной лавки Пакена. Парикмахер Гюстав, у которого служат четыре маникюрши, занимает второй этаж новенького, выкрашенного желтой краской дома.

Еще два года назад на углу тупика Мулен-Жемо и улицы Турнебрид бесстыдная девчонка рекламировала дезинсекционную жидкость – «Тю-пю-не». Лавчонка процветала в те годы, когда на площади Святой Цецилии торговали треской, было ей сто лет. Витрину ее редко мыли – не без некоторого усилия сквозь пыль и запотевшие стекла можно было различить целую толпу крошечных восковых фигурок, которые изображали крыс и мышей в огненного цвета камзолах. Зверьки, опираясь на тросточки, сходили с палубы корабля на сушу – но стоило им ступить на землю, крестьяночка в кокетливом платье, хотя мертвенно-бледная и черная от грязи, обращала их в бегство, опрыскивая «Тю-пю-не». Мне очень нравилась эта лавчонка, вид у нее был циничный и упрямый, в двух шагах от самой дорогостоящей французской церкви она нахально напоминала о правах паразитов и грязи.

Старая торговка фармацевтическим зельем умерла в прошлом году, а ее племянник продал дом. Стоило снести несколько стенных перегородок – и вот вам маленький лекционный зал «Бонбоньерка». В прошлом году Анри Бордо провел в нем беседу об альпинизме.

По улице Турнебрид не следует торопиться – почтенные семейства вышагивают медленным шагом. Иногда удается нырнуть в тот ряд, что идет впереди, – это значит, какое-то семейство в полном составе зашло к Фулону или к Пьежуа. Зато в другие минуты ты вынужден топтаться на месте – два семейных клана, идущие в двух встречных потоках, увидели друг друга и теперь долго трясут друг другу руки. Я переступаю мелкими шажками. Я на целую голову выше обоих потоков, и мне видны шляпы, море шляп. Большая часть шляп – черные, жесткие. Время от времени одна из них взлетает на длину руки, открывая нежное свечение лысины потом через несколько мгновений медленно опускается на место. Над фасадом номера шестнадцать по улице Турнебрид хозяин шляпного ателье, специалист по фуражкам Юрбен в качестве символа вывесил огромную красную архиепископскую шляпу, она парит в воздухе, и ее золотые кисти свисают в двух метрах над землей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.